

СЛОВАРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ



Как антикультовая сеть участвовала
в идеологической подготовке войны против Украины

Эйден Уокер

Словарь уничтожения

**Как антикультовая сеть участвовала
в идеологической подготовке войны
против Украины**

Эйден Уокер

Настоящее издание представляет собой документально-аналитическое расследование, основанное на открытых источниках, включая опубликованные документы, научные публикации, сообщения средств массовой информации, публичные заявления и иные материалы, доступные на момент подготовки текста. В тех случаях, когда точное содержание отдельных разговоров, мотивов или последовательности действий не может быть установлено с исчерпывающей достоверностью, автор использует реконструкцию, основанную на совокупности источников. Автор не ставит целью унижение чести, достоинства или деловой репутации каких-либо лиц и организаций.

Оглавление

Аннотация

Пролог

Глава 1. Сначала они назвали страну сектой

Глава 2. Майдан как «операция культов»

Глава 3. От «культов» к «сатанизму»

Глава 4. Если перед тобой не народ, а «культ»

Глава 5. «Они не люди»: каннибалы, одержимые, антихристиане

Глава 6. Война за души

Глава 7. Благословение оружия

Глава 8. Священная война как моральная амнистия

Глава 9. Богословие исключения

Глава 10. Антикультовая сеть как фабрика смыслов

Глава 11. От маргинального языка к государственному

Глава 12. Украина как полигон, Запад как следующая мишень

Глава 13. Что делает с обществом язык тотального обвинения

Глава 14. Как распознаётся идеологическая подготовка массового насилия

Глава 15. Последнее предупреждение

Глава 16. Эпилог

Аннотация

Эта книга — результат работы команды экспертов в сфере военной журналистики, защиты прав человека и религиозной свободы. На первый взгляд случайность послужила причиной появления книги. Хотя, по сути, это продукт человеческой смелости и доброты. Каждый участник команды, несмотря на различные сферы деятельности, просто выполнял свою работу. Журналисты снимали сюжеты в зоне конфликтов, наблюдатели и эксперты OSCE/ODIHR фиксировали и анализировали сообщения о нарушениях, USCIRF изучала материалы и готовила рекомендации по вопросам религиозной свободы.

Одна неожиданная встреча послужила толчком к осознанию неизбежной необходимости свести весь этот опыт в один материал и уведомить мировую общественность о той опасности, что замаскировалась под интеллигентность. Напомнить о том, что уже давно забыто со времен Нюрнбергского процесса. Пропаганда — это не теория, это оружие. Оружие массового поражения. Поражая сознание масс, пропаганда сегодня оправдывает не просто беззаконие тоталитарных режимов, она оправдывает убийство людей, давая индульгенцию убийцам и подстрекателям.

Книга знакомит со страшной реальностью современности. С той реальностью, которую мы как команда энтузиастов видели в материалах о войне в Украине, изучали по отчетам о нарушениях прав человека в России, обсуждали на плановых собраниях международных организаций. Книга — это отчет о проделанной работе и об увиденном. Но самое главное — это предупреждение и эксгумация, казалось бы, уже давно похороненных смертельных технологий обесчеловечивания. Это — не просто отправная точка для каждого читателя. Это точка невозврата. Невозврата к прежней иллюзии безопасной жизни.

Пролог

В конце октября 2022 года, когда линия фронта стабилизировалась после осенних потрясений, а первоначальные политические обоснования военного вторжения начали терять мобилизующую силу, в российском государственном дискурсе произошел едва заметный, но тектонический сдвиг. Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов опубликовал статью, в которой заявил, что Украина превратилась в «тоталитарную гиперсекту», а главной задачей военной операции отныне должна стать ее «десатанизация».

Для неподготовленного наблюдателя этот текст мог показаться случайным всплеском радикальной риторики, попыткой чиновника выслужиться, используя громкие метафоры. Политологи поспешили списать это на общую деградацию официального языка. Однако для исследователей, десятилетиями наблюдавших за развитием религиозного экстремизма и государственно-церковных отношений в России, в этих словах не было ничего случайного. Это был момент триумфа. Специфический, маргинальный словарь, который годами ковался в узких кругах так называемых «сектоведов», стал языком государственной безопасности и военной машины.

Как получилось, что геополитический конфликт в XXI веке начал описываться в терминах средневекового экзорцизма? Каким образом сорокамиллионная европейская нация в глазах соседнего общества была низведена до статуса «одержимых», лишенных собственной воли и права на существование?

Мы проследим путь одного из самых эффективных и недостаточно изученных идеологических механизмов современности — антикультовой сети, которая на протяжении десятилетий создавала, тестировала и внедряла в массовое сознание технологию абсолютного морального исключения.

Долгое время деятельность структур, подобных Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), воспринималась обществом как локальная проблема свободы совести. Эксперты-сектоведы, такие как Александр Дворкин, выступали в судах, читали лекции в университетах,

публиковали списки «деструктивных культов» и консультировали силовиков. Их мишенью были новые религиозные движения, йога-центры, протестантские общины и эзотерические кружки. Казалось, что это внутреннее дело религиозного поля — жесткая, порой неэтичная, но ограниченная борьба за паству.

Однако язык, который они создавали, обладал универсальным разрушительным потенциалом. Понятие «тоталитарная секта», не имеющее строгого научного или юридического определения, оказалось идеальным контейнером для стигматизации любого неудобного явления. Главная особенность этого ярлыка заключается в том, что он отменяет субъектность того, на кого направлен. Если перед вами политический оппонент — с ним можно спорить. Если перед вами гражданин другой страны — с ним можно вести переговоры. Но если перед вами «адепт деструктивного культа», чей разум якобы поработчен внешними кураторами, любой диалог теряет смысл. «Сектанта» невозможно переубедить; его можно только «спасти» против его воли или, если он сопротивляется, обезвредить.

Именно эта логическая конструкция, отработанная на локальных религиозных меньшинствах, была масштабирована до размеров целого государства.

Важно подчеркнуть: мы не утверждаем, что антикультовая сеть была единственным или главным архитектором этой войны. Исторические процессы всегда многофакторны. Имперский ресентимент, геополитические амбиции, экономические интересы и страх перед демократизацией сыграли свои решающие роли. Однако именно антикультовый словарь предоставил ту самую оптику, которая позволила миллионам людей примириться с немыслимым. Он дал моральную амнистию тем, кто нажимал на курок, и тем, кто молчаливо одобрял это с диванов.

Украина стала первым масштабным полигоном, где эта технология была применена на государственном уровне. Но логика тотального обвинения не знает границ. Сегодня мы видим, как тот же самый антикультовый словарь начинает применяться для описания «коллективного Запада», европейских институтов и демократического мира в целом. Понимание того, как

конструируется этот язык, как он проникает в институты и как парализует эмпатию, необходимо не только для осмысления текущей трагедии. Это знание — инструмент самозащиты для любого общества, которое хочет сохранить иммунитет против вируса расчеловечивания.

Слова имеют вес. Иногда они весят ровно столько, сколько свинец, который отливают после того, как эти слова произнесены. Наше расследование начинается с того момента, когда слово «секта» впервые перестало быть просто религиозным термином и превратилось в приговор.

Глава 1. Сначала они называли страну сектой

Весной 1993 года постсоветское пространство переживало уникальный исторический момент. Рухнула не только политическая цензура, но и многолетняя государственная монополия на мировоззрение. Миллионы людей, выросших в условиях принудительного атеизма, оказались в ситуации абсолютного идеологического вакуума, который стремительно заполнялся. Открывались новые храмы, на стадионах собирались тысячи слушателей зарубежных проповедников, интеллигенция зачитывалась восточной философией, а религиозная жизнь отличалась невиданным доселе плюрализмом. Закон о свободе совести казался незыблемым фундаментом нового демократического общества.

Именно в этой атмосфере эйфории и растерянности в российском публичном поле прозвучало словосочетание, которому предстояло изменить не только религиозный ландшафт, но и политическую историю целого региона. В марте 1993 года Александр Дворкин, недавно вернувшийся из США и начавший свою деятельность в России, ввел в оборот термин «тоталитарная секта».

На первый взгляд, это была лишь попытка классифицировать новые религиозные движения. Однако с точки зрения лингвистики и социальной

психологии это был акт конструирования идеального оружия стигматизации. Чтобы понять разрушительную силу этого концепта, необходимо проанализировать его составные части и проследить, как академические термины мутировали в инструменты социальной изоляции.

Изначально слово «секта» не несло в себе криминального или демонического подтекста. В классической латыни термин *secta* (от глагола *sequor* — следую) служил для обозначения образа мышления, философской школы или политической партии. Как отмечает в своих исследованиях Перссон Бертил, в XI–XVII веках это слово использовалось как синоним литературной, философской или религиозной школы мысли, тайного собрания или даже филантропического общества. Большинство мировых религий на этапе своего зарождения воспринимались окружающим большинством именно как секты — отделившиеся группы с особым учением.

Трансформация нейтрального понятия в инструмент устрашения началась на Западе, но именно в России она достигла своего абсолюта. Российский религиовед, доктор философских наук и заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Игорь Кантеров в своей книге «Новые религиозные движения» подробно задокументировал этот семантический сдвиг:

«Не одно столетие слово “cult”, состоящее из четырёх букв, встречалось лишь в лексике историков религии, теологов, этнографов и не выходило за рамки сугубо научных изданий. Исключение, пожалуй, образует политологическое использование термина “культ” (культ личности) в публицистике и пропаганде, адресованной широкой аудитории. Но уже в середине 70-х гг. XX столетия этот термин начинает прочно обосновываться во всех видах массмедиа, выносится в заглавия статей, очерков, теле- и радиопередач. И подавляющая часть материалов о культах имела сенсационно-обличительную направленность. В публикациях многих зарубежных исследователей НРД не объясняются причины использования СМИ термина “культ” преимущественно (а правильное будет сказать — исключительно) с негативным смысловым содержанием. Издателям, падких до сенсаций журналов и газет, слово “культ” сразу же пришлось по душе своей “краткостью, боевитостью и эмоциональностью”. К тому же его и без того негативная коннотация могла без особого труда быть усилена такими словосочетаниями,

как “самоубийственный культ” и “дьявольский культ”. В рекордно быстрые сроки понятие “культ” стало массово использоваться в качестве клише, начинка которого непременно включала в себя “типичные признаки” культа. Приведём некоторые из них: культы занимаются сомнительной, а чаще всего преступной деятельностью; они вовлекают своих последователей посредством обмана и лживых посулов; во главе культов стоят могущественные и беспринципные лидеры, преследующие корыстные цели и манипулирующие сознанием приверженцев культов, нанося вред их психике, разрушая семьи».

Но Дворкин пошел дальше западных таблоидов. Он соединил религиозный страх с глубокой политической травмой постсоветского человека. Прилагательное «тоталитарный» стало тем самым триггером, который отключал критическое мышление. Игорь Кантеров блестяще описал механику этого воздействия:

«Переноса зловещий, пугающий смысл термина “тоталитарный” на область религии, создатели конструкции “тоталитарная секта” рассчитывают таким способом существенно усилить обличительный заряд имеющихся определений, предваряющих слова “секта” и “культ”. Именно по причине “узнаваемости” термина “тоталитарный” ... и закрепилось употребление этого очень “нехорошего” термина к новым религиозным образованиям».

Слово «тоталитарный» мгновенно вызывало в памяти общества, едва пережившего советский опыт, ассоциации с отсутствием свободы, концентрационными лагерями, колючей проволокой и подавлением личности. Соединив это с мистическим страхом перед «сектой», антикультисты создали фантом абсолютного врага. При этом ни в российском, ни в международном праве таких юридических понятий не существовало. Расплывчатость формулировок позволяла подвести под этот ярлык абсолютно любую группу людей.

Фундаментальным текстом, закрепившим эту оптику, стала книга Александра Дворкина «Сектоведение». Внешне она мимикрировала под академический труд, однако независимые юридико-лингвистические экспертизы вскрыли ее истинную природу. Анализ показал, что текст содержит явные признаки идеологии религиозной эксклюзивности и превосходства. По

своей внутренней логике книга воспроизводила модель, сходную с идеологией «расовой чистоты», но перенесенную в сферу духа. В ней последовательно проводилась мысль, что лишь одна конфессия является «истинной», тогда как все остальные формы духовной жизни трактовались как ложные, дьявольские и подлежащие искоренению. Судебная лингвистика, оперирующая строгими критериями семантики и прагматического воздействия, фиксировала в подобных текстах маркеры дискриминации и призывы к социальному отчуждению.

Критерии «тоталитарной секты», предложенные в антикультовой литературе, были сформулированы настолько широко, что превращались в универсальную сеть. К ним относили нетерпимость к критике, наличие харизматичного лидера, жесткую организацию, претензию на исключительность, использование методов вербовки и трансляцию апокалиптических идей. Парадокс, который неоднократно отмечали независимые исследователи, заключался в том, что созданный самим Дворкиным Центр религиоведческих исследований во многом идеально подходил под его же собственное описание «тоталитарной структуры» — с непререкаемым авторитетом лидера, монополией на истину, жестким делением мира на «своих» и «чужих» и оправданием любых методов ради «спасения заблудших».

Даже внутри церковной среды, изначально поддержавшей сектоборческий пафос, со временем начало зреть понимание разрушительности этого подхода. Один из бывших сотрудников миссионерского отдела в своем интервью предельно откровенно описал этот процесс разочарования:

«Вы знаете, какое-то время я поддерживал идею А. Л. Дворкина беспощадной борьбы с “сектами”, но у нас подход к этой “борьбе” начал меняться ещё до того, как я ушёл из Миссионерского отдела. У нас уже начали вестись разговоры о том, что, конечно, “Сектоведение” это книга хорошая, но уж слишком она ригористична. Потому что, какую организацию ни возьми — то классическая секта, то деструктивная, то коммерческий культ. Не хватало научности в подходе. И мы начали уставать от этого ригоризма, что, мол, все плохие, мы одни белые и пушистые. Потому что к нам постоянно люди приходили и спрашивали: скажите, пожалуйста, а кто у нас НЕ секты? И вот

начинаешь перебирать, вспомнишь, например, православных старообрядцев... Ну и на этом фантазия заканчивается. Потому что дальше надо говорить об адвентистах, а это уже — по классификации Дворкина — классическая секта, которой сто лет и так далее. Да и вопрос терминологии тогда смущал: “тоталитарный”, “не тоталитарный”, кто его ввёл, уместно ли его использовать? На Западе есть тенденция более толерантно называть эти организации новыми религиозными движениями (НРД) или просто религиозными организациями, или там что-нибудь с приставкой “нео...”. Просто само слово “секта”, оно уже звучит как матерное. Сказать “это — секта”, как клеймо поставить. Нельзя сказать, что это секта, но она хорошая. Это секта, но она такая, знаете, безвредная... Ну, это как-то глупо и смешно. Так что вопрос терминологии тоже возникал. Поэтому у нас шли разговоры, что Александр Леонидович, конечно, хороший специалист и книжка у него замечательная, но уж слишком у него все вокруг “гады”. Какую религиозную организацию ни возьми — “гад гадом погоняет”».

Но антикультовую машину было уже не остановить. Термин вышел из-под контроля теологов и стал инструментом социальной инженерии. Российский исследователь и публицист Кирилл Товбин точно уловил суть произошедшего:

«Дворкин придумал очень серьёзное понятие [тоталитарная секта], наполнил его определённым смыслом. Этот смысл не выдерживает критики с точки зрения науки, с точки зрения объективности... Дворкин последовательно это понятие использует, и, самое главное, это понятие прочно угнездились в эшелонах власти. Говоря более грубым языком, Дворкин создал универсальное пугало, с помощью которого можно устранять практически всех критиков современной властной системы в России, будь то религиозное или нерелигиозное движение, потому что Дворкин очень остроумно, я бы даже сказал, талантливо говорит о коммерческих культах, говорит о Herbalife, говоря о пылесосах Kirby...».

Здесь мы подходим к главному механизму, ради которого и конструировался этот язык — механизму лишения субъектности.

Когда человека или группу людей объявляют «сектантами», происходит фундаментальный юридический и моральный сдвиг. В нормальном

демократическом обществе между гражданами, общественными объединениями и государством существует презумпция диалога. Оппоненты могут заблуждаться, их взгляды могут быть непопулярными, но они остаются полноправными субъектами права. С ними можно спорить, вести переговоры, искать компромиссы.

Ярлык «тоталитарной секты» полностью аннулирует эту презумпцию. Антикультовый нарратив утверждает, что адепт секты лишен собственной воли. Его сознание якобы поработщено, он зомбирован, он действует не в своих интересах, а выполняет приказы внешних кураторов. Следовательно, любые его слова — это не выражение его позиции, а трансляция чужой программы. Любые его протесты — это не борьба за права, а симптом психологической зависимости.

Известный российский религиовед, доктор философских наук Сергей Иваненко так описывал стратегию этого движения:

«Приоритетные цели антикультистов — возбудить в обществе нетерпимость по отношению к новым религиозным движениям (культам), побудить органы законодательной власти принять “антикультовые” законы, вынудить правоохранные и судебные органы “пресечь” деятельность культов. Основной адресат, целевая аудитория антикультистов — органы государственной власти, правоохранные структуры, средства массовой информации. Антикультовое движение стремится представить культы общественно опасными, криминальными по своей природе образованиями, против которых государство и общество обязаны вести решительную борьбу».

Если перед вами не гражданин с иными взглядами, а «жертва деструктивного культа» или, что еще хуже, его «вербовщик», то диалог с ним не просто бессмысленен — он преступен. С вирусом не ведут переговоров. Болезнь не пытаются переубедить. Ее изолируют и уничтожают. Лишение субъектности переводит оппонента из категории политического или религиозного противника в категорию санитарной угрозы.

Именно эта технология, отработанная в 1990-е годы на кришнаитах, пятидесятниках и свидетелях Иеговы, в начале 2000-х годов начала искать новые, гораздо более масштабные цели. И первой такой целью стала соседняя страна.

В начале нулевых годов религиозный и общественный ландшафт Украины разительно отличался от российского. В то время как в России происходила стремительная централизация духовной жизни вокруг Московского патриархата и выдавливание меньшинств на маргинес, Украина демонстрировала высокую степень религиозного плюрализма. Православные юрисдикции конкурировали между собой, греко-католическая церковь активно развивалась, а протестантские общины играли заметную роль в социальной жизни страны.

Для российских антикультистов, тесно связанных с государственными структурами и спецслужбами, эта украинская полифония выглядела не как проявление свободы, а как угроза. Именно в этот период, задолго до открытых политических конфликтов, в российских профильных изданиях и на лекциях сектоведов начали появляться первые задокументированные попытки применить сектоведческую терминологию к украинским реалиям.

Украина стала описываться не как суверенное государство со сложной внутренней динамикой, а как «заповедник сект», территория, где «деструктивные культы» якобы захватывают умы миллионов. Любые общественные движения, не вписывающиеся в орбиту российского влияния, начали маркироваться как результат работы западных миссионеров и «неопятидесятнических пасторов».

Это был тонкий, едва заметный для широкой публики, но концептуально необратимый шаг. Если украинское общество выбирает путь, отличный от российского, то, согласно этой логике, оно делает это не по своей воле. Украинцы не могут сами хотеть независимости или европейской интеграции — это противоречит имперской догме. Значит, их сознание «закодировано». Значит, целая нация стала жертвой массового гипноза.

Словарь был сформирован. Механизм лишения субъектности прошел успешные испытания на локальных группах. Концепция «тоталитарной секты» превратилась из маргинальной теории в готовую политическую технологию, ожидающую своего часа. Оставалось лишь дожидаться момента, когда миллионы людей выйдут на площади, чтобы объявить их политический выбор масштабной сектантской галлюцинацией, требующей немедленного экзорцизма.

Глава 2. Майдан как «операция культов»

Зима 2013–2014 годов выдалась в Киеве суровой. Физическая реальность протестов на площади Независимости состояла из пронизывающего холода, запаха горящих дров в металлических бочках, стука палок по сожженным остовам автобусов и многотысячного скандирования политических лозунгов. Это был классический, хотя и предельно драматичный, гражданский конфликт: общество, возмущенное внезапным отказом власти от европейской интеграции и последующим жестоким избиением студентов, вышло на улицы, требуя смены политического курса.

Однако для зрителя, наблюдавшего за этими событиями через экраны российских федеральных телеканалов и пророссийских медиа, конструировалась совершенно иная реальность. В прайм-тайм политические ток-шоу и новостные выпуски транслировали картину, в которой не было места ни гражданскому возмущению, ни политическим требованиям, ни социальной усталости от коррупции. Вместо этого миллионной аудитории предлагался нарратив, заимствованный не из политологии или социологии, а из специфического словаря радикального сектоведения.

События в центре украинской столицы начали нередко описываться с использованием псевдопсихиатрических и оккультных терминов. В публицистике и телевизионных комментариях рассуждали о «массовом психозе», применении технологий манипуляции сознанием и «контроле сознания», которые якобы применялись к протестующим. Часть подобных интерпретаций носила откровенно конспирологический характер.

Чтобы понять, как этот маргинальный конспирологический язык получил заметное распространение, необходимо отмотать время немного назад и

посмотреть на инфраструктуру, которая готовила почву для подобной интерпретации реальности.

Задолго до того, как на киевских улицах появились первые палатки, в Украине уже функционировала разветвленная сеть структур, тесно связанных с Российской ассоциацией центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Официально их деятельность декларировалась как защита традиционных духовных ценностей и информирование населения о «деструктивных культах». На практике же это была планомерная работа по стигматизации любых религиозных и общественных групп, не вписывающихся в орбиту влияния Московского патриархата.

В 2011 году эта деятельность приобрела системный институциональный характер: был создан Всеукраинский апологетический центр (ВАЦ) во имя святителя Иоанна Златоуста. Председателем его попечительского совета стал епископ Обуховский Иона. В структуру ВАЦ вошли локальные центры различных епархий, а к работе активно привлекались представители Синодального отдела по делам молодежи. Создание подобной централизованной структуры позволило координировать усилия по дискредитации неудобных общин на всей территории страны.

Методология этой работы не была секретом. Она опиралась на инструкции и концепции, разработанные российскими антикультистами еще в начале нулевых. Документальные свидетельства показывают, что стратегия заключалась не в богословской полемике, а в агрессивном пиаре и социальном саботаже. В одном из внутренних аналитических документов, посвященных особенностям использования PR-технологий в антисектантской деятельности, прямо формулировалась главная задача. Инструкция предписывала: «сосредоточиться на публикации разоблачительных материалов, которые бы помогли закрепить негативный образ сектантских групп. Особое внимание необходимо обратить на адресность публицистики, которая должна обращаться как к верующим, так и к нецерковным людям».

Эта формулировка предельно цинична в своей откровенности. Цель состояла не в поиске истины и не в защите пострадавших, а в искусственном конструировании и закреплении «негативного образа» в массовом сознании.

Причем целевой аудиторией этой пропаганды были не только прихожане церквей, но и светское общество.

Для реализации этих задач использовались методы, поражающие своей радикальностью. На профильных конференциях, где формировалась идеология движения, звучали призывы к созданию агентурных сетей внутри религиозных меньшинств. Сохранились стенограммы выступлений, где прямо рекомендовалось:

«Необходимо на каждом приходе создавать молодёжную организацию... Поэтому создание вот таких организаций, где будет спорт, где будет некоторая интрига, где можно будет этих ребят, как разведчиков, посылать в секты, чтобы узнавать адреса, фамилии, фотографии, чтобы там они создавали внутри свои структуры, и можно их, эти секты, взрывать изнутри».

Там же звучали инструкции по сбору личных данных:

«... “фамилии и адреса”. Двум человекам в любом городе вполне под силу узнать адреса, фамилии, имена, отчества, домашние адреса руководителей всех существующих сект. ...можно их сфотографировать при выходе из дома. Чтобы каждый житель города знал их в лицо, знал фамилию, имя, отчество, домашний адрес и телефон... И пусть дальше продолжают жить».

Подобная риторика, предполагающая слежку, сбор компромата и психологическое давление, формировала внутри антикультовой сети специфическую культуру подозрительности и агрессии. Протестантские общины, новые религиозные движения и независимые гражданские инициативы рассматривались не как часть сложного украинского общества, а как вражеские агенты, подлежащие выявлению и нейтрализации.

Именно эта сеть, годами тренировавшаяся на поиске «сектантов» в спальных районах украинских городов, зимой 2013–2014 годов оказалась удобным идеологическим ресурсом для обслуживания политического кризиса. Когда сотни тысяч украинцев вышли на протесты, антикультовая оптика была масштабирована. То, что раньше применялось к локальной общине пятидесятников, теперь было применено к целому социальному движению.

Синхронизация выступлений антикультовых экспертов и сюжетов федеральных телеканалов в период зимы-весны 2014 года выглядела как согласованное усиление одного и того же объяснительного шаблона. Медийный конвейер работал в одном направлении: тезисы о «сектах», «зомбировании» и «массовом психозе» переходили из маргинальной публицистики в широкий информационный оборот.

Главной задачей этой кампании было лишение протестующих политической субъектности. Признать, что граждане соседней страны способны к самоорганизации ради защиты своих прав, означало бы создать опасный прецедент для внутренней российской аудитории. Поэтому была задействована спасительная псевдопсихиатрическая рамка.

В эфирах и публикациях начали регулярно появляться люди, титрованные как «эксперты по деструктивным культам», «психологи-криминалисты» и «специалисты по информационному воздействию». Они уверенно заявляли, что Майдан — это гигантская сектантская лаборатория.

Особый упор делался на термин «НЛП» и смежные понятия о психологическом программировании. В академической науке НЛП само по себе считается псевдонаучным направлением, не имеющим доказанной эффективности. Однако добавление слова «боевое» придавало термину зловещий, милитаристский оттенок. Зрителю внушалось, что против украинского народа применено невидимое психологическое оружие массового поражения.

Сцены совместных молитв на площади, в которых принимали участие священнослужители разных конфессий — от православных до католиков и протестантов, — интерпретировались как сеансы массового гипноза. Выступления харизматичных лидеров со сцены описывались как технологии введения толпы в транс. Любая солидарность, взаимопомощь волонтеров, готовность людей стоять на морозе объяснялись не идейной убежденностью, а результатом «зомбирования» или внешнего манипулирования.

Этот нарратив выполнял важнейшую терапевтическую функцию для российского зрителя. Он снимал необходимость анализировать сложные политические процессы, коррупционные скандалы режима Виктора Януковича

или исторические предпосылки украинского выбора. Все сводилось к простой и понятной схеме: братский народ стал жертвой злых колдунов-политтехнологов и сектантских пасторов. Украинцы не виноваты, они просто больны, их сознание захвачено. А значит, их нужно спасать — даже если для этого потребуется применить силу.

Кульминацией этой идеологической кампании стал конец февраля 2014 года. После трагических расстрелов на Институтской улице и бегства президента Януковича из страны, Верховная Рада Украины возложила исполнение обязанностей президента на спикера парламента Александра Турчинова.

Для российской пропагандистской машины фигура Турчинова стала удобным материалом для окончательного закрепления сектоведческого нарратива на государственном уровне. Дело в том, что Александр Турчинов был не только опытным политиком, но и евангельским христианином, которого в медиа часто называли баптистским проповедником; при этом сам он подчеркивал, что пастором не является.

Баптизм — одно из крупнейших направлений протестантского христианства, имеющее многовековую историю, миллионы последователей по всему миру и абсолютно легальный статус в подавляющем большинстве стран, включая саму Россию. Однако в искаженной реальности, созданной антикультовой сетью, этот факт биографии был немедленно превращен в доказательство «сектантского захвата власти».

В течение нескольких недель российское информационное пространство было буквально затоплено материалами, посвященными религиозной принадлежности нового украинского лидера. Публицисты и комментаторы описывали баптистскую церковь в терминах «секты» или подозрительной структуры, а религиозную биографию Турчинова — как политическую угрозу.

Зрителям рассказывали, что к власти в Киеве пришли «сектанты», чья истинная цель — уничтожение канонического православия и духовное порабощение народа. Политические решения переходного правительства анализировались не с точки зрения государственного управления, а через призму конспирологических теорий о тайных приказах зарубежных религиозных центров.

Этот микро-кейс с демонизацией Турчинова наглядно продемонстрировал, как работает механизм антикультовой стигматизации применительно к высшим эшелонам власти. Пропаганда намеренно смешивала понятия, называя традиционную протестантскую деноминацию «деструктивной сектой», чтобы вызвать у аудитории иррациональный страх.

Если во главе государства стоит «сектант», то само государство теряет свою легитимность. С правительством, сформированным в результате политического кризиса, можно вести сложные дипломатические переговоры. С «сектантской хунтой», якобы управляемой из-за рубежа посредством технологий контроля сознания, переговоры невозможны по определению. Их можно только свергнуть, изолировать или уничтожить.

В этот период антикультовые центры и лояльные им комментаторы работали на пределе своих возможностей, поставляя медийщикам фактуру для сюжетов. В ход шли старые архивы, вырванные из контекста цитаты протестантских богословов, смонтированные видеозаписи богослужений. Информационная кампания строилась по принципам, которые были заложены в тех самых методичках начала нулевых: главное — закрепить негативный образ, не заботясь о достоверности фактов.

Важно отметить, что в этой риторике прослеживалась четкая преемственность с методами советской антирелигиозной пропаганды. Как отмечают исследователи, анализирующие деятельность современных антикультистов, они часто используют шаблонный метод обвинения в сотрудничестве с иностранными разведками.

«Среди методов антикультистов (как нынешних, так и советских) есть шаблонный метод обвинения в сотрудничестве с другими странами или в работе на их разведывательные службы. При выдвижении подобных обвинений в шпионаже ключевым фактором для советских антикультистов был недавний или текущий негативный исторический опыт населения, проживающего на территории, где велась антикультовая пропаганда».

В 2014 году этот метод был применен с максимальной эффективностью. «Неопятидесятники» и «баптисты» на Майдане объявлялись не просто религиозными деятелями, а прямыми агентами влияния США и Европы,

осуществляющими геополитическую диверсию под видом духовной практики. Религиозный фактор стал удобным камуфляжем для объяснения политического поражения Кремля в Украине.

Синхронность, с которой действовали псевдоэксперты, церковные иерархи и государственные медиа, показывала, что антикультовый дискурс перестал быть узкоспециализированной темой. Он превратился в несущую конструкцию новой политической реальности.

Телевизионные экраны транслировали бесконечный поток тревожных образов: горящие крыши, люди в касках, молящиеся пасторы, и закадровый голос, вещающий о «массовом помешательстве» и «технологиях расчеловечивания». Парадокс заключался в том, что именно этот закадровый голос, обвиняющий протестующих в потере разума, и осуществлял реальное, а не выдуманное программирование аудитории.

Российское общество, ежедневно потреблявшее этот контент, постепенно утрачивало способность воспринимать украинцев как равных себе людей, наделенных свободой воли. Ярлык «жертв массового психоза» оказался удивительно удобным. Он позволял сочетать снисходительную жалость к «одурманенному братскому народу» с агрессивной ненавистью к тем, кто якобы этот дурман распространял.

К весне 2014 года, когда на юге и востоке Украины начали разворачиваться драматические события, связанные с аннексией Крыма и началом вооруженного конфликта на Донбассе, идеологическая почва была полностью готова. Российскому обывателю не нужно было объяснять, почему соседнее государство внезапно стало враждебным. Ответ уже был вложен в его сознание: государство захвачено сектантами, а народ болен и нуждается в принудительном лечении.

В этой системе координат применение силы переставало быть актом агрессии и превращалось в акт экзорцизма. Если перед вами не политический оппонент, а толпа, лишенная разума под воздействием «боевого НЛП», то любые рациональные аргументы бессильны. Вы не можете договориться с вирусом, поразившим сознание миллионов. Вы можете только изолировать очаг заражения и хирургическим путем удалить тех, кто признан источником инфекции.

Архивы телевизионных эфиров того времени сохранили множество эпизодов, где приглашенные в студию гости, срываясь на крик, требовали немедленного вмешательства для спасения Украины от «сектантского мракобесия». В этих криках уже отчетливо слышался лязг гусениц и гул военной авиации. Слова о «массовом гипнозе» и «контроле сознания» медленно, но верно трансформировались из метафор в обоснование реального кровопролития.

Когда в марте 2014 года камеры российских каналов и других пророссийских медиа крупным планом показывали лицо Александра Турчинова, его религиозная принадлежность подавалась как отдельный фактор угрозы и нетерпимости. В этот момент миллионы зрителей по ту сторону экрана поверили, что перед ними не политик соседней страны, а лидер опасного культа, готовый принести их единоверцев в жертву. И в тишине московских квартир, перед мерцающими экранами телевизоров, невидимая граница допустимого насилия была пройдена задолго до того, как первый вооруженный отряд пересек реальную государственную границу.

Глава 3. От «культов» к «сатанизму»

Осенью 2022 года российская государственная система столкнулась с новым этапом риторической эскалации. Первоначальные обоснования военного вторжения, построенные на политических и исторических претензиях, начали ослабевать как универсальный мобилизационный язык. Термины «демилитаризация» и «денацификация», звучавшие в феврале, оказались слишком абстрактными для общества, которое начало получать первые похоронки и столкнулось с реальностью массовой мобилизации. Политические конструкты требовали срочной замены на нечто более глубинное, иррациональное и не подлежащее сомнению. Государству потребовался язык абсолюта.

25 октября 2022 года этот язык вошёл в публичный оборот из уст высокопоставленного представителя Совета безопасности РФ. В издании «Аргументы и факты» вышла статья помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексея Павлова. Высокопоставленный чиновник, генерал-лейтенант, чья должность предполагала оперирование сухими категориями геополитики, разведки и национальной безопасности, внезапно заговорил словарем средневекового экзорциста. В своем тексте Павлов заявил, что Украина превратилась в «тоталитарную гиперсекту», а потому возникла необходимость проведения «десатанизации» соседнего государства.

Появление термина «десатанизация» в лексиконе помощника секретаря Совета безопасности — это не просто стилистический курьез или попытка чиновника привлечь к себе внимание яркой метафорой. Это важный зафиксированный эпизод сближения государственного языка с радикальной религиозной мифологией. Чтобы осознать масштаб этого сдвига, необходимо внимательно изучить саму природу обвинения в сатанизме и проследить, как антикультовая сеть десятилетиями готовила почву для того, чтобы подобная риторика стала возможной на столь высоком уровне.

Переход от обвинений в «сектантстве» к обвинениям в «сатанизме» знаменует собой фундаментальную эскалацию ненависти. Когда пропаганда называет группу людей «сектой» или заявляет о применении к ним психологических манипуляций, она оставляет крошечное, но все же существующее пространство для снисхождения. Жертва манипуляции больна, ее разум затуманен, но теоретически ее можно вылечить, переубедить, вернуть в нормальное состояние. Псевдопсихиатрический язык, доминировавший на ранних этапах конфликта, предполагал наличие некой терапии, пусть и принудительной.

Сатанизм в таком дискурсе почти полностью отменяет возможность диалога. В христианской, исламской и иудейской парадигмах, на которые опирается российское общество, Сатана — это не заблуждающийся субъект. Это абсолютное, онтологическое зло, сознательно выбравшее путь противостояния свету. С Сатаной нельзя сесть за стол переговоров, подписать мирный договор или найти компромисс. Любая попытка диалога с абсолютным злом сама по себе воспринимается как отступничество. Следовательно, когда целое государство и

его народ объявляются носителями сатанинского начала, язык ненависти начинает оправдывать самые крайние формы насилия.

Эта радикальная метафизика не возникла в кабинетах Совета безопасности из ниоткуда. Она была бережно выращена внутри антикультового движения, которое с самого начала своего существования в России стирало границы между социологией религии и демонологией. Базовые тексты российского сектоведения, претендовавшие на академичность, изначально содержали в себе этот заряд абсолютного исключения.

Показательной в этом смысле является фундаментальная для всего движения книга Александра Дворкина «Сектоведение. Тоталитарные секты». В ней автор прямо формулирует генеалогию любого инакомыслия:

«Первым сектантом-гностиком был сам сатана, использовавший при разговоре с Евой типичные приёмы сектантской вербовки»

Эта фраза, кажущаяся на первый взгляд лишь смелой теологической аллегорией, на практике выполняет важнейшую функцию: она ставит знак равенства между любым неортодоксальным убеждением и служением дьяволу. Независимые юридико-лингвистические экспертизы базовых текстов сектоведения неоднократно фиксировали этот прием демонизации. Эксперты отмечали, что в антикультовой литературе систематически создается жесткая бинарная оппозиция, где «мы» выступаем носителями истины и порядка, а «они» — носителями лжи, хаоса и демонических намерений.

Антикультисты годами тренировали свою аудиторию видеть происки антихриста в самых обыденных или исторически укорененных явлениях. Отрабатывая технологию тотального обвинения, они не стеснялись применять ее даже к мировым религиям с миллиардной паствой. В том же «Сектоведении» можно найти следующий пассаж, демонстрирующий механику конструирования абсолютного врага:

«Итак, “индуизм как он есть” — наиболее мощная языческая традиция нашего времени. ... Индуизм, особенно в своём оккультном аспекте, питает и, возможно, составляет ядро формирующейся на наших глазах религии или, вернее, консенсуса религий антихриста. Современный индуизм и, в первую очередь, гуруистские секты — это миссионерский вызов Церкви Христовой ...»

Лингвистический анализ этого фрагмента вскрывает суть метода. Использование словосочетания «религии антихриста» выводит полемику из рационального поля в область экзистенциальной вражды. Автор не анализирует чужую веру, он выносит ей окончательный приговор. Если антикультовая сеть позволяла себе публично называть древнейшую мировую религию «ядром религии антихриста», не встречая при этом сопротивления со стороны государственных институтов, то перенос этой же риторической матрицы на соседнее государство был лишь вопросом времени и политической целесообразности.

Осенью 2022 года эта целесообразность наступила. Статья Алексея Павлова стала сигнальным выстрелом, после которого метафизическая демонизация хлынула в публичное пространство широким потоком. И здесь на авансцену вышли представители ислама, чья риторика придала концепту «десатанизации» законченное, пугающе практическое звучание.

В ряде аудиообращений и публикаций в социальных сетях исламские представители начали последовательно описывать военные действия в Украине не как специальную операцию или геополитический конфликт, а как священную войну против служителей Иблиса (Сатаны в исламской традиции). Они призывали мусульман и христиан объединиться в этой битве, утверждая, что на территории Украины окопались сатанисты, чья цель — уничтожение традиционных ценностей и самой веры в Бога.

Синхронизация выступлений православных радикалов, государственных чиновников и лидеров исламских регионов вокруг концепта «сатанизма» продемонстрировала удивительную универсальность этого ярлыка. Антикультовый словарь оказался идеальным клеем, способным соединить разнородные, а порой и исторически враждебные друг другу группы внутри российского общества. Перед лицом сконструированного «абсолютного зла» стирались внутренние противоречия. Исламский джихад и православная борьба с антихристом оказывались сведены в рамках одного милитаризованного образа врага.

Функциональная роль обвинения в сатанизме внутри российского общества оказалась колоссальной. Главная задача этой риторики заключалась в

блокировании любых попыток рационального осмысления происходящего. В условиях затяжного конфликта у граждан неизбежно возникают вопросы о причинах неудач, о целесообразности жертв, о экономических последствиях и о самом смысле конфронтации. Рациональный дискурс всегда оставляет место для сомнений и критики власти.

Но как только государство или его представители объявляют, что оно ведет войну с Сатаной, любой рациональный вопрос начинает восприниматься как слабость, измена и богоотступничество. Нельзя спрашивать о потерях, когда решается судьба мироздания. Нельзя требовать мирных переговоров с демонами. Нельзя сочувствовать мирным жителям по ту сторону фронта, потому что в парадигме «десатанизации» они перестают быть людьми и превращаются во вместилища нечистой силы.

Обвинение в сатанизме создает идеальную герметичную систему, в которой интеллект парализуется страхом. Человек, пытающийся анализировать ситуацию с точки зрения международного права, экономики или простой человеческой эмпатии, немедленно маркируется как пособник темных сил. Эта технология подавления инакомыслия стара как мир, и исследователи, изучающие природу массовых репрессий, давно описали ее механику.

Исторические параллели здесь не просто уместны — они пугающе точны. Использование обвинений в связях с дьяволом всегда предшествовало самым мрачным страницам человеческой истории. В документальных материалах, анализирующих деятельность современных антикультовых структур, эта преемственность фиксируется предельно жестко:

«В современной России термин “сектант” (“культист”) стал таким же стигматизирующим и разрушительным, как слово “еврей” в нацистской Германии или “еретик” и катар в Средние века. Всё настолько идентично, что аналогия пугает. Наблюдая за участием множества малых религиозных групп в России, подвергающихся преследованиям — обвинениям в экстремизме, запретам, изъятию имущества, психологическому давлению, пыткам, штрафам и заключениям — становится ясно, что беззакония Инквизиции живы и поныне. Хотя они и эволюционировали в рамках современных демократических норм, их суть осталась прежней.»

Инквизиция Средневековья и эпохи Возрождения использовала обвинение в колдовстве и сатанизме не только из религиозного фанатизма. Это был в высшей степени прагматичный инструмент социального контроля, конфискации имущества и устранения политических оппонентов. Обвинение в невидимом, недоказуемом преступлении — связи с дьяволом — лишало обвиняемого любой возможности на правовую защиту. Как можно доказать в суде, что ты не заключал договор с Сатаной, если сам суд исходит из презумпции твоей виновности, а доказательством служат показания «экспертов-демонологов»?

Российская антикультовая сеть, по сути, воспроизводила некоторые функции светской инквизиционной логики. На протяжении десятилетий сектоведы выступали в судах в качестве непререкаемых экспертов, чьи заключения ложились в основу приговоров против религиозных меньшинств. Они создали прецедент, при котором для осуждения человека или запрета организации не требовалось доказательств реальных преступлений — достаточно было ярлыка «деструктивного культа» и туманных рассуждений о «контроле сознания».

Когда эта отлаженная машина репрессий, привыкшая безнаказанно уничтожать локальные общины, была развернута в сторону внешнего врага, ее риторика закономерно достигла своего предела. От «деструктивного культа» до «сатанизма» — всего один шаг, и этот шаг был сделан осенью 2022 года.

Важно понимать, что внедрение подобной лексики в государственное управление имеет необратимые последствия для самого государства. Когда высшие должностные лица начинают оперировать категориями экзорцизма, происходит стремительная архаизация политического мышления. Сложные дипломатические институты, международные договоры, конвенции о правилах ведения войны — все это теряет смысл в оптике священной битвы.

Словарь ненависти обладает собственной гравитацией. Начав использовать термины радикального сектоведения для оправдания политических решений, власть неизбежно становится заложницей этого языка. Она больше не может отступить, не может признать ошибку, потому что в парадигме борьбы с абсолютным злом любое отступление равносильно духовному поражению.

Антикультовая сеть, годами маргинализировавшаяся в академической среде, но упорно выстраивавшая связи с силовыми структурами, в этот исторический момент оказалась максимально востребованной. Ее специфический, пропитанный паранойей и нетерпимостью взгляд на мир стал частью официального и околоофициального языка войны. Псевдонаучные теории о тайных кураторах, зомбировании и оккультных заговорах, которые раньше можно было найти лишь в брошюрах, раздаваемых у станций метро, теперь циркулировали в крупных медиа и публичных заявлениях чиновников.

В этом контексте призывы к «десатанизации» перестают быть просто агрессивной метафорой. Они становятся юридической и моральной индульгенцией на насилие любого масштаба. Если по ту сторону прицела находится не солдат, защищающий свою землю, не мирный житель, прячущийся в подвале, а безымянный «сатанист», то нажимающий на курок освобождается от мук совести. Он больше не убийца. Он — воин света, очищающий землю от скверны.

Именно здесь кроется самая страшная тайна идеологической подготовки массового насилия. Она заключается не в том, чтобы заставить людей поверить в политическую необходимость войны. Она заключается в том, чтобы заставить их поверить, что перед ними вообще не люди. Переход от языка психологических манипуляций к языку метафизической демонизации завершил процесс конструирования идеального врага. Врага, чье существование само по себе является оскорблением миропорядка, и чье уничтожение должно восприниматься не как трагедия, а как религиозный триумф.

Запах серы, старательно нагнетаемый пропагандой, окончательно вытеснил из общественного сознания запах пролитой крови, превратив реальную человеческую боль в абстрактный теологический конструкт. И в этой новой, искусственно созданной реальности, где государственные чиновники примеряют на себя рясы инквизиторов, вопрос о том, где проходит граница между метафорой и физическим уничтожением, повисает в воздухе, не требуя ответа.

Глава 4. Если перед тобой не народ, а «КУЛЬТ»

Женевские конвенции 1949 года, ставшие фундаментом современного международного гуманитарного права, базируются на одной негласной, но критически важной презумпции. Они предполагают, что по обе стороны линии фронта находятся люди. Враги, комбатанты, идеологические противники — но люди, обладающие рациональностью, субъектностью и правом на жизнь после сдачи в плен. Гуманитарное право работает только там, где сохраняется хотя бы минимальное взаимное признание человеческой природы оппонента.

Но что происходит в сознании солдата, офицера или военного следователя, если оптика восприятия искажена? Если годы информационной подготовки убедили его в том, что перед ним не народ, защищающий свою землю, а гигантский, вышедший из-под контроля «деструктивный культ»?

В условиях реальных боевых действий антикультовый словарь перестает быть просто агрессивной риторикой телевизионных ток-шоу. Он превращается в психологическую рамку, в которой жестокое обращение с военнопленными и мирным населением легче внутренне оправдывается. Базовый постулат радикального сектоведения гласит: с сектой невозможно договориться. Ее нельзя интегрировать в нормальное общество, с ней нельзя подписать пакт о ненападении или найти политический компромисс. Любой компромисс с «тоталитарным культом» в этой парадигме трактуется как поражение, как уступка манипуляторам, которые немедленно используют передышку для вербовки новых адептов.

Этот постулат фундаментально меняет саму природу войны. Классический военный конфликт ведется ради принуждения противника к переговорам на выгодных условиях. Но когда государственная пропаганда начинает использовать метод «вины по ассоциации», связывая любые действия украинского государства с практиками деструктивных сект, цель войны трансформируется.

Метод «вины по ассоциации» — это классический манипулятивный прием, давно описанный исследователями пропаганды. Как отмечается в профильных материалах, анализирующих природу антикультизма:

«Метод “вины по ассоциации” — это манипулятивный приём, при котором организация, ставшая объектом преследования, намеренно связывается или ассоциируется с негативными образами экстремистских групп, террористических организаций, преступников и диктаторов, уже прочно укоренившихся в общественном сознании».

В контексте войны против Украины этот метод был применен в широком пропагандистском обороте. Украинская армия, государственные институты, система образования и даже волонтерские движения начали систематически описываться через ассоциативный ряд, заимствованный из криминальной хроники о сектах-самоубийцах. Сопротивление украинских военных в окруженных городах, таких как Мариуполь весной 2022 года, объяснялось не воинским долгом или патриотизмом, а риторикой о «фанатизме», «зомбировании» и психологической обработке, характерной для пророссийской пропаганды

Такая интерпретация реальности выполняет важнейшую психологическую функцию для наступающей армии. Она снимает когнитивный диссонанс. Когда солдат видит, что местное население не встречает его с цветами, а выходит на митинги протеста или оказывает вооруженное сопротивление, он должен как-то объяснить себе это противоречие с тем, что ему рассказывали на политзанятиях. Признать, что он является оккупантом на чужой земле, — значит разрушить собственную картину мира. Гораздо проще и безопаснее для психики поверить в то, что эти люди «запрограммированы».

Давайте подробнее рассмотрим, как именно конструировалась эта искаженная реальность на уровне повседневного восприятия комбатантов. Метод «вины по ассоциации» не работает в вакууме; он требует постоянной подпитки конкретными, пусть и сфабрикованными или вырванными из контекста, образами. Российская пропагандистская машина, опираясь на методологию антикультистов, начала систематически приравнять любые

проявления украинской национальной идентичности к атрибутам деструктивного культа.

Украинская система образования, учебники истории, национальные праздники — все это описывалось не как элементы государственного строительства, а как инструменты «массового программирования». В эфирах государственных телеканалов и на закрытых брифингах для военнослужащих перед отправкой на фронт звучали тезисы о том, что целое поколение украинцев было воспитано в условиях «информационного тоталитаризма», характерного для закрытых сект. Любовь к своей стране, готовность защищать свой дом приравнивались к фанатичной преданности лидерам культа.

Этот ассоциативный ряд имел вполне конкретную практическую цель. Когда российский солдат входил в украинское село и видел в школе учебники на украинском языке или государственную символику, он, благодаря предварительной индоктринации, воспринимал их не как обычные атрибуты суверенного государства, а как вещественные доказательства работы «деструктивного культа». Это давало ему внутреннее моральное право уничтожать эти предметы, сжигать книги и преследовать учителей. Учитель в этой парадигме — не педагог, а «вербовщик» и «жертва», распространяющая опасное учение.

Особое внимание следует уделить тому, как антикультовая оптика трансформировала отношение к гражданскому сопротивлению. В классическом международном праве мирное население, оказывающее ненасильственное сопротивление оккупанту (например, выходящее на митинги с флагами своей страны), сохраняет статус лиц, находящихся под защитой. Применение к ним военной силы является военным преступлением.

Однако в оптике борьбы с «тоталитарной сектой» безоружная толпа, скандирующая лозунги, воспринимается совершенно иначе. Для индоктринированного комбатанта это не граждане, отстаивающие свои права, а толпа «зомбированных адептов», находящихся в состоянии транса. Их бесстрашие перед вооруженными солдатами объясняется не личным мужеством, а потерей инстинкта самосохранения в результате «психологической обработки». Следовательно, применение к ним силы,

слезоточивого газа, светошумовых гранат или даже огнестрельного оружия может внутренне оправдываться как подавление опасной массовой иррациональности, а не как насилие против гражданских.

Здесь мы подходим к одному из самых мрачных явлений этой войны — системе фильтрационных лагерей и принудительных депортаций.

Фильтрация на оккупированных территориях официально объяснялась необходимостью выявления диверсантов и бывших военных. Однако свидетельства людей, прошедших через эти процедуры, и анализ вопросов, которые задавали следователи, показывают совершенно иную картину. Допросы часто напоминали не контрразведывательные мероприятия, а сеансы агрессивного «депрограммирования», применяемого радикальными антикультистами к похищенным членам новых религиозных движений.

Следователей интересовали не только татуировки или следы от пороха на руках. Их интересовало мировоззрение. Отношение к украинскому языку, истории, культуре рассматривалось как маркер степени «индоктринации». Людей заставляли произносить определенные слова, петь гимны, отрекаться от своих убеждений на камеру. В этой процедуре отчетливо прослеживается логика инквизиционного дознания: проверяется не факт совершения преступления, а чистота мыслей. Людей сутками держали в переполненных помещениях, лишали сна, еды и воды, подвергали многочасовым допросам. Следователи тщательно изучали содержимое мобильных телефонов: переписки, подписки на новостные каналы, музыкальные плейлисты. Любой контакт с украинскими государственными структурами, любое выражение сочувствия к украинской армии трактовалось как признак глубокой зависимости.

Граждане, признанные «не поддающимися исправлению», могли подвергаться дальнейшему незаконному задержанию, пыткам или перемещению в места несвободы. Те же, кто признавался «жертвами пропаганды», подлежали принудительной эвакуации — депортации вглубь российской территории. В официальном дискурсе это называлось «спасением».

Язык о «зомбированных» гражданах стал идеальным юридическим и моральным прикрытием для массового перемещения населения. Если человек лишен собственной воли, если он — лишь безвольный адепт гигантской

государственной секты, то его согласие на переезд не требуется. Вы же не спрашиваете согласия у человека, находящегося в состоянии острого психоза, когда везете его в клинику? Вы спасаете его вопреки его сопротивлению.

Именно так антикультовая оптика отменяет действие международного права. Статья 49 Четвертой Женевской конвенции прямо запрещает индивидуальный или массовый насильственный угон, а также депортацию лиц, находящихся под покровительством конвенции, из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы. Но для тех, кто осуществляет эти действия, конвенция не указ, потому что в их искаженной реальности они не депортируют граждан чужой страны. Они «эвакуируют заложников деструктивного культа».

Эта подмена понятий имеет катастрофические последствия для физического выживания людей. Когда противник расчеловечен до состояния «фанатика» или «зомби», к нему перестают применяться нормы сострадания.

Чтобы понять, к чему приводит подобная индоктринация комбатантов, полезно обратиться к задокументированным свидетельствам из других конфликтов, где применялись схожие методы психологической подготовки. Исследователи, изучавшие влияние антикультовых и националистических нарративов на участников югославских войн 1990-х годов, зафиксировали пугающие признания. В одном из интервью бывший солдат элитного спецподразделения, участвовавший в этнических чистках, так описывал свое восприятие противника:

«Это было почти как игра, охота в кошки-мышки. Но, конечно, нас было гораздо больше, чем мусульман, так что почти всегда охотниками были мы, а добычей — они. Нам нужно было заставить их сдаться, но как заставить кого-то сдаться в такой войне? Их нужно было заморить голодом. Так что очень быстро мы поняли, что волноваться стоит не из-за оружия, которое могли провозить в Сребреницу, а из-за еды. Там внутри они действительно голодали, поэтому посылали людей воровать скот или собирать урожай, а наша задача была — найти их и убить... Никаких пленных. Ну, разве что если мы думали, что у них есть полезная информация — тогда могли оставить их в живых до тех пор, пока не вытащим всё, что нужно, но в итоге — никаких пленных... Местные жители

начинали сильно возмущаться, поэтому иногда мы оставляли кого-нибудь в живых, чтобы передать его им — просто чтобы они были довольны».

Эта леденящая кровь откровенность — не врожденная патология отдельного человека. Это результат целенаправленной индоктринации, которая проникает глубоко в подсознание человека и затрагивает фундаментальные ценности, устраняя любые сомнения. Когда противник низведен до статуса «добычи», «неправильно верующего» или «сектанта», приказ «никаких пленных» воспринимается не как военное преступление, а как санитарная норма.

В Украине мы увидели масштабирование этой логики. Разрушение концепции политического компромисса привело к тому, что целые города стирались с лица земли вместе с их жителями. Если город — это «очаг сектантской заразы», то его разрушение оправдано высшей целью очищения.

Антикультисты десятилетиями внедряли в общественное сознание мысль о том, что ради спасения человека из секты допустимо применять насилие, похищать его, лишать связи с внешним миром и подвергать жесткому психологическому давлению. Они называли это «депрограммированием». В масштабах государства это «депрограммирование» обернулось ковравыми бомбардировками и артиллерийским террором.

Представьте себе сотрудника правоохранительных органов или военного, который поддался влиянию этой идеологии. Как отмечается в материалах, исследующих проникновение антикультизма в силовые структуры:

«Представьте себе сотрудника правоохранительных органов, поддавшегося влиянию антикультистов, который видит в гражданине не человека, которого он обязан защищать, а врага. Как он будет исполнять свой долг? ... Эта ситуация подчёркивает проблему психологической неустойчивости у лиц, обладающих властью, особенно — правом применять силу. Когда такие люди попадают под влияние антикультистов, они становятся опасным оружием в руках манипуляторов».

В условиях оккупации это «опасное оружие» получает абсолютную, ничем не ограниченную власть над жизнью и смертью гражданского населения. Любое проявление нелояльности, любой отказ сотрудничать с оккупационной

администрацией трактуется не как гражданская позиция, а как доказательство глубокой сектантской зависимости, требующей немедленного и жесткого вмешательства.

Более того, эта оптика делает невозможным завершение войны дипломатическим путем. Дипломатия требует признания легитимности переговорщика с другой стороны. Но как можно вести переговоры с теми, кого государственные медиа ежедневно называют «лидерами культа», удерживающими в заложниках собственное население?

В этой системе координат любой призыв к миру, любой разговор о взаимных уступках или гарантиях безопасности воспринимается как предательство. Антикультовая парадигма требует только одного: полной и безоговорочной капитуляции противника, демонтажа всех его институтов и тотального переформатирования сознания населения.

Именно поэтому риторика российских официальных лиц так часто изобилует требованиями «смены режима» и «денацификации», которые на практике означают уничтожение любой независимой политической и культурной жизни в Украине. Это не просто имперские амбиции; это амбиции инквизитора, который не успокоится, пока не выжжет инакомыслие дотла.

Процесс, который мы наблюдаем, не является уникальным изобретением современности. Исследователи, анализирующие методы подавления неудобных групп, часто обращаются к концепции, состоящей из трех последовательных этапов: нетерпимость, дискриминация, преследование.

В мирное время антикультовые организации годами отработывали эту формулу на религиозных меньшинствах. Сначала через медиа создавалась атмосфера нетерпимости: группу обвиняли в разрушении семей и манипуляциях. Затем следовала дискриминация: членам группы отказывали в аренде помещений, увольняли с работы, подвергали травле. И, наконец, наступал этап преследования: возбуждались уголовные дела, конфисковывалось имущество, люди отправлялись за решетку.

В условиях войны против Украины эта же формула была сжата во времени и доведена до абсолютной, чудовищной крайности. Этап нетерпимости реализовывался через ежедневные телевизионные эфиры, где украинцев

называли «зомби» и «сектантами». Этап дискриминации проявился в отказе признавать за украинским государством право на суверенитет, а за его гражданами — право на национальную идентичность. Этап преследования вылился в полномасштабное военное вторжение, ракетные удары по жилым кварталам и массовые казни на оккупированных территориях.

Важно понимать, что ярлык «культа» или «секты» в этой формуле играет роль спускового крючка. Как предупреждают специалисты, изучающие природу пропаганды:

«Это особенно актуально, если вы слышите, как кто-то обвиняет группу, организацию, политическую фигуру или отдельного человека, используя термины “культ” или “секта”. Это тревожный сигнал, указывающий, что перед вами манипулятор, который пытается воспользоваться вашим доверием. Такой человек или организация, вероятнее всего, сознательно применяют методы дегуманизации и стигматизации, чтобы внушить страх, отвращение и, самое главное, чувство превосходства».

Чувство превосходства — вот тот психологический наркотик, который антикультовая идеология предлагает комбатантам и обществу, поддерживающему войну. Солдат, разрушающий чужой город, не чувствует себя преступником, потому что ему внушили, что он стоит на более высокой ступени морального и духовного развития, чем те, кого он убивает. Он — носитель «истины» и «традиционных ценностей», а перед ним — лишь жалкие, одурманенные жертвы западных манипуляторов, не заслуживающие ни жалости, ни соблюдения законов ведения войны.

Эта иллюзия превосходства позволяет игнорировать любые факты, противоречащие официальному нарративу. Когда международные правозащитные организации публикуют отчеты о военных преступлениях, пытках и внесудебных расправах, индоктринированное сознание легко отбрасывает эти свидетельства. В его логике правозащитники — это либо часть глобального заговора, защищающего «культ», либо наивные глупцы, не понимающие истинной природы угрозы.

Влияние этой риторики на общество трудно переоценить. Как справедливо отмечается в исследованиях, посвященных природе антикультизма:

«Активное распространение подобной травмирующей и пугающей информации является ничем иным, как психологическим терроризмом. Психологический терроризм — это запугивание населения с целью последующего воздействия и извлечения определённых выгод от такого запугивания».

Государство, использующее этот инструмент, держит собственное население в состоянии перманентного страха перед невидимой, всепроникающей угрозой. Гражданам внушается, что «культ» не просто находится по ту сторону границы; он пытается проникнуть в их умы, разрушить их семьи, уничтожить их веру. В таком состоянии общество готово оправдать любые, самые жестокие меры, лишь бы избавиться от источника своего страха.

В тускло освещенных комнатах фильтрационных пунктов, наспех оборудованных в захваченных школах и отделениях полиции, следователи методично просматривали списки контактов в изъятых телефонах. Перед ними сидели уставшие, напуганные люди, чьи дома были разрушены, а привычная жизнь уничтожена. Но человек в форме по ту сторону стола не видел перед собой ни беженца, ни гражданина, ни жертву войны. В его системе координат, заботливо выстроенной годами антикультовой пропаганды, на стуле сидел лишь биологический носитель враждебного кода, объект, подлежащий диагностике и, в случае неисцелимости, дальнейшему насилию, изоляции или принудительному перемещению. И в этой тишине допросной комнаты, где вопрос о принадлежности к украинской культуре приравнивался к вопросу о связи с деструктивной сектой, международное право переставало существовать задолго до того, как звучал приговор.

Глава 5. «Они не люди»: каннибалы, одержимые, антихристиане

Протоиерей Александр Новопашин — не просто священнослужитель, он вице-президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), один из ключевых идеологов антикультового движения в стране. Человек, чья профессия по определению связана с проповедью милосердия и спасения души, произносит текст, в котором не остается места ни для теологии, ни для базовой человечности:

«Для меня все они — людоеды... Назвал я их так потому, что такими их увидел. Эти нелюди льют человеческую кровь, кровь детей и женщин, нашу кровь; пожирают жизни людей, питаются страданиями. Так кто же они? ЛЮДОЕДЫ... И все, кто совершал эти теракты на нашей земле, перечисленные выше и которых я не назвал, — людоеды. А людоедов бесполезно загонять в клетку. Они всё равно останутся людоедами, хоть держи их там всю жизнь. Поэтому людоедов надо уничтожать».

В этих нескольких предложениях сконцентрирована вся механика радикальной дегуманизации. Обратите внимание на последовательность лингвистических конструкций. Сначала оппонент лишается политического или военного статуса и переводится в категорию мифологического, первобытного зла — «людоеды». Затем следует прямое отрицание биологической принадлежности к человеческому роду — «нелюди». И, наконец, делается единственный логический вывод, вытекающий из предыдущих посылок: изоляция («клетка») не имеет смысла, единственным решением является физическое уничтожение.

Этот дискурс не возник в одночасье. Он стал результатом многолетней эволюции специфического языка вражды, который изначально формировался в узких рамках борьбы с новыми религиозными движениями, а затем был масштабирован до размеров государственной идеологии. Чтобы понять, как целое общество соглашается с необходимостью массовых убийств, необходимо препарировать сам процесс конструирования «не-человека».

Дегуманизация — это не просто оскорбление. Это сложный когнитивный процесс, при котором определенная группа людей искусственно выводится за пределы морального круга, внутри которого действуют законы эмпатии, сострадания и справедливости. Психологически нормальному человеку крайне сложно убить другого человека. Инстинкт сохранения вида, культурные табу, религиозные заповеди — все это создает мощный внутренний барьер перед пролитием крови. Чтобы заставить армию стрелять по жилым кварталам, а общество — аплодировать этому или равнодушно молчать, этот барьер необходимо сломать.

Самый эффективный способ сделать это — убедить людей в том, что по ту сторону прицела находятся не такие же люди, как они, а существа иной, низшей или демонической природы.

В российской публицистике, тесно связанной с радикальным православным активизмом и антикультовой сетью, для этой цели были введены в широкий оборот специфические неологизмы: «нерусь» и «вырусь». На первый взгляд, это просто агрессивные политические ярлыки. Однако их семантика гораздо глубже и опаснее.

Слово «нерусь» маркирует объект как нечто чужеродное, лишенное правильной, «чистой» культурной и духовной основы. Но еще более разрушительным является термин «вырусь». Он применяется к тем, кто, по мнению идеологов, изначально принадлежал к «правильному» пространству, но затем предал его, мутировал, заразился чуждыми идеями. «Вырусь» — это концепт испорченного материала. В логике религиозного фундаментализма предатель или вероотступник всегда вызывает большую ненависть, чем иноверец. Иноверец просто заблуждается; вероотступник же совершает сознательное преступление против истины.

Именно здесь антикультовая методология смыкается с военной пропагандой. Десятилетиями сектоведы тренировали свою аудиторию на восприятии адептов новых религиозных движений как людей с необратимо поврежденной психикой. В базовых текстах российского сектоведения, претендовавших на статус научных экспертиз, систематически использовались приемы лишения оппонентов человеческих черт.

Независимые юридико-лингвистические экспертизы фундаментальных трудов антикультистов фиксировали этот процесс с пугающей точностью. Эксперты отмечали, что для описания членов религиозных меньшинств авторы конструировали уничижительные неологизмы, такие как «*homo jehovisticum*» — псевдонаучный термин, низводящий человека до уровня искусственно выведенного биологического вида, лишённого индивидуальности и свободы воли. Их язык называли «уродливо-усредненным», их культуру — «жвачной продукцией», а самих людей сравнивали с «мусором».

Когда пропагандистская машина государства столкнулась с необходимостью обосновать беспрецедентное насилие против соседней страны, ей не пришлось изобретать новые инструменты. Она просто взяла готовый, отработанный антикультовой сетью словарь и применила его к миллионам граждан Украины. Термин «одержимые», регулярно звучащий в проповедях и политических ток-шоу, выполняет ту же функцию, что и «*homo jehovisticum*». Он постулирует, что перед нами не субъект, наделенный разумом, а пустая оболочка, захваченная враждебной силой.

Исторические параллели этого процесса не просто тревожны — они структурно узнаваемы. Исследователи геноцидов XX века давно вывели закономерность: массовому физическому уничтожению всегда предшествует тотальное лингвистическое уничтожение.

Наиболее точной и страшной аналогией происходящему является риторика, предшествовавшая трагедии в Руанде в 1994 году. Тогда радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» (RTLМ) сыграла решающую роль в подготовке населения к массовым убийствам. Ведущие радиостанции не начинали свои эфиры с прямых призывов к резне. Они начали с изменения словаря. Представителей народности тутси перестали называть людьми. В эфире зазвучали зооморфные метафоры: их называли «*inyenzi*» (тараканы) и «*inzoka*» (змеи).

Сравнительный анализ риторики руандийского радио и современных российских медиа, аффилированных с радикальными религиозными кругами, позволяет увидеть сходные структурные паттерны. В обоих случаях используется искусственное разделение общества на «чистых» (носителей

истинной идентичности) и «зараженных» (тех, кто подлежит искоренению). В Руанде ведущие говорили о необходимости «очистить кустарники от тараканов». В России спикеры говорят о необходимости «выжечь скверну» и «уничтожить людоедов».

Разница заключается лишь в том, что руандийская пропаганда опиралась преимущественно на зооморфные образы, тогда как российская, глубоко пропитанная антикультовым и псевдоправославным мистицизмом, активно использует демонические и инквизиторские метафоры. Но психологический эффект остается неизменным: раздавить таракана или убить демона морально допустимо. Это не вызывает угрызений совести. Напротив, это воспринимается как акт санитарной очистки, как благо для общества.

Механизм клеймения работает безотказно. Создавая негативный, обезличенный образ целой нации, медиа подготавливают аудиторию к мысли, что насилие в отношении этой группы не просто оправдано, но является моральным долгом.

Кульминацией этого дискурса, точкой, где религиозная риторика окончательно сливается с апологией оружия массового поражения, стало выступление Евгения Никифорова, директора православной радиостанции «Радонеж». Эта радиостанция на протяжении многих лет была одной из главных медийных площадок для популяризации идей антикультового движения. В своем заявлении Никифоров сформулировал доктрину, которая перечеркивает две тысячи лет христианского богословия:

«На Украине болезнь так запущена, что уже никакими уговорами, переговорами — ничем это излечить невозможно. Там возможна только хирургия. Поэтому ответ на эти выступления нацистов может быть одним — “Солнцепёк”. Это нужно выжигать, совершенно... Дескать: “Ой, это не христианский путь!” — христианский вполне. Просто этика для тех людей... они же себя позиционируют как язычники, простите меня, — и получите как язычники! Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная, и не пророка, который лично взял и перерезал глотки трёмстам служителям Валаама. И с этими так же нужно — уничтожать без всякого сомнения. Только ветхозаветная этика! И они только этот язык и понимают».

Этот текст требует глубокого осмысления, поскольку он представляет собой манифест абсолютного расчеловечивания, облеченный в форму богословского оправдания.

Во-первых, обращает на себя внимание использование медицинской терминологии: «болезнь запущена», «излечить невозможно», «возможна только хирургия». Это классический прием снятия моральной ответственности. Хирург, ампутирующий пораженную гангреной конечность, не совершает преступления; он спасает организм. Называя соседнюю страну «запущенной болезнью», спикер переводит акт военной агрессии в разряд медицинской необходимости.

Во-вторых, поражает конкретика предлагаемого «хирургического инструмента». «Солнцепёк» — это тяжелая огнеметная система, использующая термобарические боеприпасы. Принцип ее действия заключается в распылении горючего аэрозоля и его последующем подрыве, что создает объемный взрыв колоссальной разрушительной силы, выжигающий кислород и создающий перепад давления, смертельный для всего живого на огромной площади. Это оружие неизбирательного действия, применение которого вблизи населенных пунктов неизбежно ведет к чудовищным жертвам. И именно это орудие тотального уничтожения директор православного радио называет «вполне христианским путем».

В-третьих, происходит сознательный отказ от Нового Завета — фундамента христианства, базирующегося на Нагорной проповеди, любви к врагам и милосердии. Никифоров прямо заявляет о переходе к «ветхозаветной этике», апеллируя к самым жестоким эпизодам древних текстов, где пророки собственноручно перерезали глотки иноверцам. Оппоненты объявляются «язычниками», к которым неприменимы нормы христианской морали.

Это и есть конечная станция дегуманизации. Когда противник лишен статуса человека, когда он объявлен «людоедом», «одержимым» или «служителем Валаама», к нему перестают применяться не только нормы Женевских конвенций, но и базовые религиозные заповеди. Заповедь «Не убий» в этой искаженной системе координат распространяется только на «своих», на «чистых». На «вырусь» и «сектантов» она не действует.

Психологические последствия такого информационного воздействия для российской аудитории оказались катастрофическими. Специалисты в области когнитивной психологии и медиа-воздействия описывают этот феномен через концепцию прайминга (фиксированной установки). Когда человек ежедневно, из месяца в месяц, потребляет контент, в котором определенная группа людей ассоциируется исключительно с агрессивной семантикой, деструктивными глаголами («выжигать», «уничтожать») и пугающими образами, в его подсознании формируется устойчивый шаблон.

Этот шаблон работает как фильтр восприятия. В нормальных условиях новость о том, что ракета попала в жилой дом, разрушив подъезд и убив десятки спящих людей, вызывает у здорового человека шок, ужас и сострадание. Это естественная эмпатическая реакция. Но если аудитория предварительно прошла длительную обработку языком вражды, реакция кардинально меняется.

Порог чувствительности к насилию снижается до нулевой отметки. Мозг, запрограммированный на то, что по ту сторону границы живут не люди, а «зомбированные адепты тоталитарной гиперсекты» и «антихристиане», блокирует эмпатию. Жертвы среди мирного населения перестают восприниматься как трагедия. В лучшем случае они вызывают равнодушие, воспринимаясь как неизбежные издержки «хирургической операции». В худшем — вызывают злорадство и чувство удовлетворения от того, что «очаг заражения» успешно ликвидирован.

Антикультовая сеть, годами публиковавшая списки «деструктивных организаций», куда заносились миллионы ни в чем не повинных людей, приучила общество к мысли, что преследование инакомыслящих — это норма. Они создали прецедент, при котором человека можно лишить прав, имущества и свободы не за совершенное преступление, а за его убеждения, объявленные «сектантскими».

Когда эта же логика была применена к целому государству, общество оказалось к этому готово. Оно уже умело ненавидеть по команде. Оно уже усвоило урок: если авторитетный эксперт или человек в рясе говорит, что перед тобой враг, значит, так оно и есть, и никакие доказательства не требуются.

Формирование образа исключительности и превосходства — еще один важнейший элемент этой системы. Дегуманизируя противника, пропаганда одновременно возвеличивает собственную аудиторию. Российскому обывателю внушается мысль, что он является носителем уникальной духовности, защитником традиционных ценностей, воином света, противостоящим глобальному сатанизму. Это чувство морального превосходства действует как сильнейший наркотик. Оно компенсирует социальную неустроенность, экономические проблемы и отсутствие политических свобод. Человек готов терпеть любые лишения, если верит, что участвует в космической битве добра со злом.

Слова, произнесенные в уютных московских радиостудиях и на конференциях по сектоведению, обладают страшной материальной силой. Они превращаются в общественное согласие на насилие, в снижение порога сочувствия и в готовность оправдывать преступления. Язык ненависти, намеренное очернение, придание представителям критикуемых групп стойких дегуманизирующих образов — все это не просто сотрясение воздуха. Это технология подготовки массового насилия, где каждый уничижительный эпитет работает как пуля, выпущенная в сознание собственного народа, чтобы затем обернуться реальным свинцом для народа соседнего.

В тишине разрушенных кварталов, среди обломков бетона и искореженного металла, не звучат богословские споры о природе сект. Там нет ни «чистых», ни «зараженных». Там есть только физическая реальность смерти, которая стала возможной потому, что однажды кто-то решил, что имеет право отказать другим в праве называться людьми. И те, кто благословлял или оправдывал термобарические взрывы во имя очищения веры, навсегда вписали свои имена в историю не как защитники духовности, а как архитекторы катастрофы, начавшейся с одного безжалостного слова.

Глава 6. Война за души

6 марта 2022 года, в день, когда православный мир отмечал Прощеное воскресенье — время традиционного примирения и покаяния перед началом Великого поста, — под сводами московского Храма Христа Спасителя прозвучали слова, ставшие одним из ключевых моментов религиозного переосмысления войны. Российская армия в этот момент вела тяжелые бои на территории соседнего государства, колонны бронетехники пытались продвинуться к Киеву, а число жертв среди мирного населения росло с каждым часом. В этой обстановке от представителя Русской православной церкви ожидалось слова о мире, призывы к милосердию или хотя бы традиционная для таких случаев сдержанная скорбь о проливаемой крови.

Вместо этого патриарх Кирилл произнес проповедь, которая совершила радикальный идеологический разворот. Он заявил, что происходящий конфликт представляет собой «борьбу, имеющую не физическое, а метафизическое значение». Врагами были объявлены те, кто разрушает Божий закон, стирает грань между святостью и грехом, а главным критерием лояльности силам зла и условием вхождения в этот «клуб» был назван гей-парад.

Сведение причин крупнейшего в Европе вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны к отношению к гей-парадам могло бы показаться абсурдным упрощением, если бы не выполняло важнейшую функциональную задачу. В этот день территориальная агрессия в церковной проповеди была переосмыслена как квазирелигиозная битва света с тьмой. Война за ресурсы, геополитическое влияние и контроль над соседним государством была представлена российскому обществу как акт духовного спасения.

Чтобы этот нарратив был воспринят миллионами людей как нечто естественное, потребовались десятилетия предварительной работы. Фундамент для такого восприятия реальности закладывался еще в 1990-е годы и начале 2000-х, когда в российском политическом и околоцерковном лексиконе появилось и начало активно закрепляться понятие «духовной безопасности».

Изначально этот концепт разрабатывался и продвигался в том числе представителями антикультового движения. Они настойчиво продвигали идею о том, что национальная безопасность государства не ограничивается защитой физических границ, экономики или политического строя. По их логике, существовало некое суверенное «духовное пространство», которое подвергалось постоянным атакам со стороны зарубежных миссионеров, новых религиозных движений и западных ценностей. Антикультисты убеждали силовиков и чиновников, что инакомыслие в религиозной сфере — это не реализация права на свободу совести, а форма скрытой интервенции, направленная на разрушение культурного кода нации.

Постепенно эта риторика переключалась из маргинальных брошюр сектоведов в официальные государственные документы. Защита «традиционных духовно-нравственных ценностей» стала частью стратегических документов и официальной государственной политики Российской Федерации. Произошло беспрецедентное стирание границы между светским государственным интересом и религиозной догматикой. Государство взяло на себя функцию арбитра в вопросах морали и веры, а церковь получила в свое распоряжение силовой аппарат для подавления конкурентов.

Когда защита абстрактных «традиционных ценностей» возводится в ранг вопроса национальной безопасности, открывается путь для оправдания любых агрессивных действий. Если угроза носит духовный характер, то и превентивный удар может быть нанесен под предлогом защиты душ, а не территорий. Именно эта логика позволила патриарху Кириллу в декабре 2022 года заявить, что конфликт является защитой от оккупации, которая может принести «духовную гибель, изменить основы религиозной и культурной идентичности». Физическое уничтожение городов и инфраструктуры соседней страны парадоксальным образом объяснялось необходимостью спасти ее жителей от гибели духовной.

Трансформация смыслов потребовала изменения и самой литургической жизни. В христианской традиции молитва исторически воспринималась как средство соединения человеческой личности с Божественной природой, где центральным прошением всегда оставалось евангельское «Да будет воля Твоя». Однако в условиях новой реальности этот постулат оказался неудобным.

Спустя полгода после начала полномасштабного вторжения в храмах Русской православной церкви была введена для регулярного чтения «Молитва о Святой Руси». На первый взгляд текст, составленный в традиционном церковнославянском стиле, выглядит как типичное религиозное прошение. Но при детальном лингвистическом и теологическом анализе он раскрывается как подлинный идеологический манифест, в котором универсальное Царство Небесное заменяется конкретным геополитическим проектом.

Ключевой нарратив пропаганды заложен уже в первых строках:

«...се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделить и погубити единый народ ея».

В этой формулировке происходит масштабная подмена реальности. Военное вторжение, инициированное российским руководством, описывается как нападение неких внешних сил на мифическую «Святую Русь». Использование этого исторического концепта, отсылающего к временам Киевской Руси, выполняет функцию полного отрицания украинского суверенитета. Независимое государство лишается права на собственную историю и самоопределение, сводясь к роли заблудшего или отторгнутого фрагмента единого пространства, который необходимо вернуть любой ценой.

Но наиболее радикальный разрыв с христианской этикой происходит в кульминационной части текста:

«Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

Введение этой формулы вместо прежних прошений о мире стало актом глубочайшей ревизии вероучения. Произошла намеренная подмена христианского идеала миротворчества милитаристским понятием победы. Молитва перестала быть просьбой о вразумлении воюющих сторон и покаянии; она трансформировалась в требование успешного силового подавления противника.

Заповедь «Не убий», получившая в Новом Завете радикальное углубление, где даже гнев на ближнего приравнивается к преступлению, в этой системе координат полностью игнорируется. Молящиеся фактически просят у Бога

санкцию на пролитие крови, пытаясь сделать Творца соучастником нарушения Его же фундаментального закона. Вера низводится до уровня гражданской религии племенного типа, где божество выступает эксклюзивным покровителем одного народа, обеспечивающим ему военное превосходство над соседями.

Перекодирование конфликта в метафизическую плоскость неизбежно потребовало создания нового образа комбатанта. Российский военнослужащий в официальном дискурсе перестал быть просто солдатом, выполняющим приказы командования в рамках геополитического противостояния. Пропаганда начала наделять его сакральными чертами, превращая в фигуру космического масштаба.

Окончательное концептуальное оформление этот образ получил 27 марта 2024 года, когда на официальном сайте Русской православной церкви был опубликован документ XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС) под названием «Настоящее и будущее русского мира». Этот текст, предваряемый указанием на то, что он является «наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России», содержит формулировки, беспрецедентные для современной истории государственно-церковных отношений:

«Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и её народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию “Удерживающего”, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и её народу

политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена».

В этом документе на столь высоком институциональном уровне война прямо названа «Священной». Но еще более важным является использование термина «Удерживающий» (катехон). В христианской эсхатологии, восходящей к посланиям апостола Павла, катехон — это сила или субъект, препятствующий окончательному приходу антихриста и наступлению конца света.

Наделение российской армии и государства статусом «Удерживающего» имеет колоссальные психологические и политические последствия. Если солдат верит, что он не просто захватывает чужую территорию, а физически удерживает мир от падения в бездну сатанизма, для него исчезают любые моральные преграды. Применение силы, разрушение гражданской инфраструктуры, гибель мирных жителей — все это меркнет перед масштабом возложенной на него космической миссии. В парадигме защиты от апокалипсиса любые средства признаются легитимными, а любые жертвы — оправданными.

Однако сложные теологические концепты вроде катехона или метафизической борьбы трудны для восприятия массовой аудиторией. Чтобы идеология священной войны проникла в каждый дом, потребовалась ее адаптация через инструменты массовой культуры и индустрии развлечений. Манипулирование общественным сознанием через поп-культуру всегда было самым быстрым способом внедрения нужных нарративов, обходящим критическое мышление.

Лозунг «С нами Бог», имеющий давнюю историю и ассоциирующийся, в частности, с прусской и германской военной традицией, включая вермахт (*Gott mit uns*), был извлечен из исторического небытия и превращен в главный слоган современной российской пропаганды. Он печатается на агитационных плакатах, шевронах, сувенирной продукции и звучит с концертных площадок.

Этот лозунг активно легитимизируется и высшим духовенством. Патриарх Кирилл сделал его лейтмотивом своих публичных выступлений. В канун Рождества 2023 года он обратился к аудитории с формулой: «Если с нами Бог — значит, с нами и истина, и победа...». А на праздник Крещения Господня в 2024

году эта мысль была доведена до абсолюта: «Если с нами Бог — какая сила может нас победить?».

Интеграция религиозного абсолютизма в массовую культуру создает эффект тотального присутствия идеологии. Человек может не читать документы Всемирного русского народного собора и не вслушиваться в тексты патриарших проповедей, но он неизбежно сталкивается с этой эстетикой в радиоэфире, на городских праздниках и в социальных сетях. Квазирелигиозный милитаризм становится фоновым шумом эпохи, нормой, не требующей осмысления.

Опасность такого перекодирования реальности заключается в его необратимости. Политический конфликт, в основе которого лежат вопросы территорий, статусов и гарантий безопасности, всегда оставляет пространство для дипломатии. Политики могут торговаться, идти на уступки, фиксировать статус-кво и подписывать мирные договоры.

Но когда конфликт официально объявлен «Священной войной», а противник маркирован как носитель сатанизма, угрожающий самому существованию духовного пространства, любые переговоры теряют смысл. Невозможно подписать компромиссное соглашение с абсолютным злом. Нельзя уступить часть территории силам тьмы. В логике метафизической битвы существует только два возможных исхода: полная, безоговорочная победа с уничтожением источника угрозы, либо мученическая гибель во имя высшей правды.

Государство, взявшее на вооружение словарь религиозного фундаментализма, само загоняет себя в ловушку. Оно лишает себя пространства для политического маневра, поскольку любой шаг назад будет воспринят индоктринированным обществом не как тактическое отступление, а как вероотступничество и предательство Бога, который, как им ежедневно повторяют, находится исключительно на их стороне.

В марте 2022 года, когда слова о метафизическом значении борьбы только прозвучали под сводами московского храма, в заблокированном Мариуполе люди прятались в подвалах разрушенного драматического театра, пытаясь спастись от непрекращающихся бомбардировок. На асфальте перед зданием огромными белыми буквами было написано слово «ДЕТИ». Эта надпись была

физической, отчаянной попыткой воззвать к человечности тех, кто находился за штурвалами самолетов. Но в логике священной войны такие знаки перестают работать как моральный предел: на земле оказываются уже не дети и не мирные граждане, а абстрактные элементы враждебного мира, подлежащего очищению огнем во имя торжества правильной духовности.

Глава 7. Благословение оружия

Тяжелые капли святой воды срываются с густой щетины кропила и ложатся на холодную, матовую броню. Священник в расшитой золотом епитрахили, накинутой поверх полевой формы или темной рясы, мерно взмахивает рукой, обходя выстроенную в ряд военную технику. В воздухе пахнет ладаном, сгоревшим дизельным топливом и сырой землей. Звучит монотонный речитатив молитвы, в которой древние церковнославянские формулы причудливо сплетаются с названиями современных систем залпового огня. Солдаты, стоящие в строю, крестятся. В этот самый момент происходит не просто религиозный обряд — совершается фундаментальный акт моральной трансмутации. Орудие массового убийства, созданное для разрывания человеческой плоти и разрушения городов, официально выводится из пространства человеческой ответственности и наделяется статусом священного артефакта.

Переход от агрессивной риторики к физическому насилию всегда требует ритуального закрепления. Слова о «деструктивных культах» и «одержимом противнике», годами звучавшие с экранов и церковных амвонов, нуждались в материальном воплощении. Идеологическая подготовка войны не могла ограничиться лишь телевизионными эфирами; она должна была проникнуть в тактильную, физическую реальность армии. Практика массового освящения военной техники стала тем самым мостом, по которому абстрактная ненависть перешагнула в окопы.

Чтобы понять масштаб и системность этого явления, необходимо обратиться к его главному архитектурному символу, который был воздвигнут задолго до начала полномасштабного вторжения, но стал его идеальной пространственной метафорой. В 2020 году в подмосковном парке «Патриот» был освящен и открыт Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Это сооружение не имеет аналогов в истории христианского зодчества, поскольку его эстетика и символизм подчинены не Евангелию, а культуре милитаризма.

Визуальный язык этого храма агрессивен и прямолинеен. Его фасады облицованы металлом цвета хаки — оттенком, который никогда ранее не использовался в православной архитектуре, но который безошибочно считывается подсознанием как цвет маскировки, цвет фронта, цвет войны. Пространство храма математически закодировано на прославление военной мощи: диаметр главного купола составляет 19,45 метра, что отсылает к году окончания Второй мировой войны, а высота звонницы — 75 метров, в честь 75-летия победы. Ступени храма отлиты из переплавленных траков немецких танков вермахта. Входящий в храм прихожанин физически попирает ногами поверженного врага, что задает совершенно определенный психологический настрой: это не место для покаяния и смирения, это триумфальная площадка победителей.

Внутри храма, на мозаиках, рядом с ликами святых изображены солдаты с современным автоматическим оружием в руках. Эта архитектурная среда выполняет важнейшую функцию: она нормализует присутствие орудий смерти в сакральном пространстве. Если современные образцы вооружения и батальные сцены могут быть включены в убранство храма, значит, их применение заранее оправдано высшими силами. Храм цвета хаки стал зримым воплощением того самого «богословия исключения», где христианская эстетика была выпотрошена и заполнена идеологией тотального противостояния.

Однако архитектурный символизм был лишь вершиной айсберга. Внутри самой церковной институции на протяжении многих лет шла планомерная работа по теологическому обоснованию применения оружия массового поражения. Эта работа поражает своей циничной изобретательностью.

Показательным микро-кейсом здесь является деятельность представителя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами протоиерея Константина Татаринцева. В своих публичных выступлениях и публикациях он совершил беспрецедентный догматический кульбит. Татаринцев предал анафеме пацифизм как явление и выдвинул концепцию, согласно которой ядерное оружие несет на себе печать первородного греха только в том случае, если оно создается без православной молитвы. Ядерный арсенал США, согласно этой логике, был объявлен «сатанинским», поскольку создавался вне спасительной благодати. В то же время советские и российские ракеты, производившиеся в закрытом городе Арзамас-16, получили статус «благословенных».

Обоснование этого статуса строилось на географическом совпадении: поскольку ядерный центр находился в местах, где веком ранее жил преподобный Серафим Саровский, этот великий христианский святой, проповедовавший стяжание мирного духа, был посмертно и без его согласия «назначен» небесным покровителем оружия массового уничтожения. В церковно-патриотической риторике ядерное сдерживание действительно описывалось как гарант безопасности и почти сакральный щит государства.

Эта тенденция закреплялась на самом высоком уровне. При патриархе Алексии II в публичных церковных выступлениях святая великомученица Варвара прямо называлась небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения. Таким образом, система, способная уничтожить человечество, получила официальную религиозную санкцию.

Когда началась война против Украины, эта отлаженная машина сакрализации насилия заработала на полную мощность, но уже применительно к конвенциональному оружию. В сети и независимых медиа начали десятками появляться видеозаписи и фотографии, на которых священники РПЦ окропляют святой водой артиллерийские установки, танки и другую военную технику.

Освящение РСЗО представляет собой особую моральную проблему, которая тщательно замалчивается официальной пропагандой. В отличие от высокоточного оружия или личного стрелкового вооружения, система

залпового огня является оружием неизбирательного действия. Она покрывает огромные площади, и при ее использовании вблизи населенных пунктов гибель мирных жителей, разрушение жилых домов, больниц и школ становятся не трагической случайностью, а математической неизбежностью.

Когда священнослужитель возносит молитву над направляющими трубами «Града», он не может не понимать физики процесса. Он благословляет неизбирательный огонь. Он дает религиозную индульгенцию на то, что снаряды разорвут на части людей, спящих в своих квартирах. В этот момент происходит окончательное стирание границы между государственным приказом и божественным промыслом. Солдату, сидящему за пультом управления РСЗО, больше не нужно терзаться сомнениями. Церковь уже взяла этот грех на себя, переименовав его в доблесть. Оружие, окропленное святой водой, в сознании комбатанта перестает быть просто куском металла; оно становится инструментом экзорцизма, направленным против тех, кого пропаганда уже успела заклеить «одержимыми» и «сектантами».

Но для того, чтобы эта система работала бесперебойно, требовалось не только благословлять железо. Нужно было переформатировать само литургическое пространство, заставив миллионы верующих ежедневно соучаствовать в вербальной легитимации войны.

25 сентября 2022 года, в период, когда российская армия столкнулась с серьезными трудностями на фронте и в стране была объявлена мобилизация, Патриарх Кирилл ввел новую молитву и благословил читать ее в храмах Русской православной церкви. Она получила название «Молитва о Святой Руси». Этот текст стал водоразделом, окончательно зафиксировавшим превращение церкви из духовного института в идеологический департамент военного ведомства.

Текст молитвы, стилизованный под древние прошения, содержал формулировки, не оставляющие пространства для двойных толкований. Ключевой пассаж гласил:

«...се бо брани хотящая ополчишася на Святую Русь, чающе разделить и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

Внедрение этого текста стало актом глубочайшей ревизии христианского вероучения. На протяжении веков во время вооруженных конфликтов церковь традиционно молилась о мире, о смягчении злых сердец, о вразумлении правителей и о спасении жизней. Новая молитва категорически исключала слово «мир». Она требовала от Бога прямого военного вмешательства на стороне одного конкретного государства.

Использование термина «Святая Русь» в контексте современной войны выполняло функцию полного отрицания политической реальности. Суверенное государство Украина, его границы, его правительство и воля его граждан просто стирались из этой картины мира. Конфликт описывался не как агрессия одного государства против другого, а как нападение неких темных сил на мистическое, неделимое тело «Святой Руси». Верующим предписывалось просить у Бога «победы» — то есть успешного силового подавления, разрушения обороны противника и захвата территорий.

Эта молитва стала не просто литургическим новшеством. Она превратилась в жесткий инструмент дисциплинарного контроля, своеобразный детектор лояльности внутри самой церковной корпорации.

Далеко не все священнослужители оказались готовы принять эту радикальную милитаризацию веры. Внутри церкви, на уровне приходов и епархий, начались скрытые, а порой и открытые дискуссии о допустимости происходящего. Священники, воспитанные на Евангелии, задавались вопросом: как можно просить Христа, добровольно пошедшего на крест и запретившего апостолу Петру применять меч, даровать победу системам залпового огня? Как можно совместить заповедь «Блаженны миротворцы» с требованием молиться о военном триумфе?

Реакция церковной системы на эти сомнения была молниеносной и беспощадной, обнажив ее тоталитарную природу. Структура, годами обвинявшая новые религиозные движения в подавлении воли адептов, сама начала действовать по законам закрытой корпорации, где лояльность руководству ставится неизмеримо выше пастырской совести.

«Молитва о Святой Руси» стала лакмусовой бумажкой. За тем, как священники читают этот текст, был установлен строгий контроль. В храмах

появились доносчики из числа радикально настроенных прихожан, которые внимательно вслушивались в каждое слово настоятеля. Если священник осмеливался пропустить эту молитву или, что происходило чаще, пытался смягчить ее смысл, заменяя слово «победа» на слово «мир» (прося у Бога не военного разгрома противника, а прекращения кровопролития), репрессивная машина запускалась немедленно.

Священнослужителей, посмевших молиться о мире, запрещали в служении и в ряде случаев лишали сана. Помимо Иоанна Коваля, широко обсуждалось дело протоиерея Алексея Уминского, которого судили в том числе из-за отказа читать «Молитву о Святой Руси».

Этот процесс очищения рядов от пацифистов показал, что для нынешнего церковного руководства политическая целесообразность и обслуживание государственного заказа стали абсолютным приоритетом. Церковь продемонстрировала, что она готова пожертвовать лучшими, самыми совестливыми своими пастырями ради сохранения статуса идеологического партнера власти. Подавление голосов несогласных внутри РПЦ происходило с той же методичной жестокостью, с которой антикультовая сеть ранее уничтожала репутацию независимых религиозных общин.

Физическое сращивание религиозных ритуалов и военной машины достигло своей кульминации. Освящение танков и ракет, строительство храмов цвета хаки, внедрение общецерковных молитв о победе и репрессии против миротворцев — все это звенья одной цепи. Эта цепь намертво сковала духовное пространство, лишив миллионы людей возможности опереться на религию как на источник гуманизма и сострадания.

Когда священник опускает кропило в чашу со святой водой и взмахивает им над броней, отправляющейся на фронт, он делает нечто большее, чем просто выполняет обряд. Он накладывает печать сакральности на будущие разрушения. И где-то за сотни километров от этого места, в разрушенном городе, среди бетонного крошева и искореженного металла, эта благословленная сталь найдет свою цель. В тишине, наступающей после взрыва, не будет слышно ни песнопений, ни оправданий о защите традиционных ценностей. Останется лишь физическая реальность смерти, которая стала

возможной потому, что те, кто должен был защищать жизнь, предпочли освятить орудия ее уничтожения.

Глава 8. Священная война как моральная амнистия

В конце сентября 2022 года российское общество пережило один из самых острых психологических шоков за всю свою новейшую историю. Указ о «частичной мобилизации» мгновенно разрушил негласный социальный контракт, согласно которому боевые действия велись где-то далеко силами профессиональной армии, не затрагивая повседневную жизнь большинства граждан. Сотни тысяч мужчин, вчерашних менеджеров, строителей, учителей и водителей, были внезапно вырваны из мирной реальности и поставлены перед фактом: в ближайшие недели им предстоит взять в руки оружие, отправиться на территорию соседнего государства и начать убивать.

Для любого психически здорового человека, воспитанного в парадигме современной гуманистической культуры, где человеческая жизнь декларируется как высшая ценность, акт убийства себе подобного является колоссальным табу. Это табу закреплено не только в уголовном кодексе, но и на глубочайшем подсознательном уровне, прошито тысячелетиями религиозной и культурной эволюции. Базовая библейская заповедь «Не убий» (Исх. 20:13), получившая в Новом Завете радикальное углубление, где даже гнев на ближнего приравнивается к преступлению (Мф. 5:21–22), формирует невидимый, но прочный моральный барьер.

Государственная машина принуждения способна заставить человека надеть форму и сесть в эшелон под угрозой тюремного заключения. Но страх перед уголовным преследованием — плохой мотиватор в условиях реального боя. Солдату, находящемуся в состоянии тяжелейшего когнитивного диссонанса, требовалось нечто большее, чем приказы командиров. Ему

требовалось экстренное духовное обезболивающее. Ему нужна была индульгенция, которая сняла бы с него личную ответственность за пролитую кровь и превратила бы неизбежное преступление в акт высшей добродетели.

Именно в этот критический момент, когда военкоматы по всей стране осаждались толпами растерянных людей, высший религиозный авторитет государства произнес слова, которые навсегда изменили теологический ландшафт русского православия.

25 сентября 2022 года, спустя всего несколько дней после объявления мобилизации, Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) совершил Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В своей проповеди он обратился к теме воинского долга и произнес формулу, которая стала краеугольным камнем новой идеологии:

«Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил».

Чтобы в полной мере осознать масштаб произошедшего догматического сдвига, необходимо препарировать это высказывание с точки зрения классического христианского богословия.

В христианской традиции концепция мученичества (от греческого *martyria* — свидетельство) неразрывно связана с добровольным страданием за веру. Первые христиане шли на арены Колизея, отказываясь брать в руки оружие и приносить жертвы языческим богам. Их подвиг заключался в абсолютном ненасилии, в готовности умереть, но не убить. Жертва Христа на Голгофе, согласно Евангелию, была принесена ради спасения мира и стала искупительной именно потому, что была абсолютно безгрешной и добровольной.

Заявление патриарха совершает радикальную подмену. Оно приравнивает смерть солдата, погибшего в ходе захватнической войны с оружием в руках, в момент попытки убить солдат противника, к спасительной жертве Христа. Более того, вводится концепция автоматического «смывания всех грехов» фактом гибели на фронте.

Эта теологическая конструкция не имеет ничего общего с Евангелием. Она представляет собой прямое заимствование из совершенно иных религиозных систем. Идея о том, что смерть в бою гарантирует прощение грехов и особую посмертную награду, гораздо ближе к логике религиозно-милитаристских культов и воинских мифологий, чем к евангельскому пониманию покаяния. Внедрение этой языческой по своей сути механики в православный дискурс стало актом беспрецедентной моральной амнистии, выданной авансом каждому мобилизованному.

Однако было бы ошибкой считать, что эта доктрина родилась спонтанно, как ситуативная реакция на кризис мобилизации. Фундамент для оправдания войны и сакрализации воинского насилия закладывался внутри церковной институции десятилетиями. Независимые теологические оценки указывают на то, что идеологическая база была подготовлена задолго до первых выстрелов.

Ключевым документом здесь являются «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятые на Архиерейском Соборе еще в 2000 году. Глава VIII этого документа, озаглавленная «Война и мир», представляет собой поразительный пример двойных стандартов. С одной стороны, документ формально признает войну злом и декларирует миротворческую миссию церкви. С другой стороны, он оставляет широчайшие лазейки для оправдания вооруженного конфликта, если государство назовет его защитой отечества или освободительной войной.

В тексте «Основ» прямо утверждается: «Русская Церковь многожды благословляла народ на участие в освободительной войне». Там же приводится обширная цитата, приписываемая святому Кириллу: «Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ власти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и

поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залогов, за которые до последней капли крови должны сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками пред Богом».

Этот пассаж, интегрированный в базовый социальный документ церкви за двадцать два года до полномасштабного вторжения, фактически легализует статус солдата как святого мученика, чья святость обусловлена не праведной жизнью, а фактом защиты государственной власти. Таким образом, слова патриарха в сентябре 2022 года были не личной инновацией, а логическим развитием давно утвержденной доктрины, ожидавшей своего исторического часа.

Психологический эффект этой доктрины для общества, находящегося в состоянии войны, трудно переоценить. Механизм «моральной амнистии» работает через процесс, который в психологии называется делегированием совести.

Когда обычный человек, не склонный к насилию, оказывается в окопе, его психика ищет способ справиться с ужасом происходящего. Если он признает, что участвует в несправедливой агрессии, его личность разрушится под тяжестью вины. Религиозный авторитет приходит на помощь, предлагая спасительную сделку: «Отдай свою совесть нам. Мы, от имени Бога, берем этот грех на себя. Твоя задача — просто выполнять приказ, и за это ты получишь вечное спасение».

В этой системе координат заповедь «Не убий» не просто игнорируется — она выворачивается наизнанку. Убийство врага начинает трактоваться как форма исполнения заповеди о любви к ближнему. В проповедях регулярно цитируются слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Но если в оригинальном евангельском контексте речь шла о готовности пожертвовать собой ради спасения других, то в милитаристской интерпретации эта фраза превратилась в оправдание уничтожения противника. «Положить душу» стало означать «убить как можно больше врагов, рискуя собственной жизнью».

Независимые богословы, анализирующие этот феномен, отмечают, что подобная подмена превращает веру в гражданскую религию племенного типа. В

такой религии крест служит лишь декоративным оправданием меча, а Евангелие заменяется национальным мифом. Верующие невольно меняют свою идентичность «детей Божиих», призванных к миротворчеству, на идентичность «детей земного отечества», чьи геополитические интересы ставятся неизмеримо выше Христовых заповедей.

Чтобы понять, к каким катастрофическим последствиям на практике приводит подобная теология, полезно обратиться к историческим прецедентам. Механизм религиозного оправдания агрессии не является уникальным российским изобретением. Он был с пугающей точностью отработан на Балканах в 1990-е годы, во время распада Югославии. Сравнительный анализ показывает, что риторика и методы Сербской православной церкви того периода во многом предвосхищают современные российские практики.

В годы югославских войн внутри СПЦ сформировалась влиятельная группа иерархов, которых исследователи называют «ястребами войны». Среди них выделялись митрополит Амфилохий (Радович) и епископ Афанасий (Евтич). Несмотря на то, что формальным главой церкви был Патриарх Павел, именно эти радикальные епископы де-факто контролировали идеологический курс, обеспечивая теологическое прикрытие для действий сербских политических и военных лидеров, таких как Радован Караджич.

Документальные свидетельства того времени поражают своим сходством с современными российскими реалиями. В книге «Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj» («Сербская церковь в войне и войны внутри нее») подробно описывается, как церковные помещения использовались для продвижения политических лидеров, которым приписывалась «предназначенная Богом мессианская роль». Духовные лица публично заявляли, что этих политиков «Сам Бог послал спасти род сербский».

Но самое страшное заключалось в том, как сербские иерархи отвечали на вопросы «когда убивать» и «почему нужно убивать». Исследователи приводят шокирующие факты:

«Убийства, совершённые на войне, не считались грехом даже для священнослужителей, которым по канонам православия такое поведение категорически запрещено. И не только это — многие из священников-воинов

были даже причислены к лику святых. Отдельные личности, для которых убийство и ранее не было чуждо, благодаря участию в войне и борьбе за “национальные интересы”, часто превращались из преступников в национальных героев... Владыка Афанасий (Евтич) однажды сказал об Аркане [Желько Ражнатович, лидер военизированной группировки, обвинявшийся в военных преступлениях]: “Я знаю, кем Аркан был. Но теперь он герой — и так должно быть”».

Логика моральной амнистии в Сербии работала безотказно. Для спасения собственной жизни православные каноны убивать не рекомендуют, но в борьбе за «Великую Сербию», за «честный крест и золотую свободу» убивать было не просто можно, но и необходимо. Как отмечается в источниках: «Интересы Сербской Церкви, сербского государства и сербского народа... были единственными причинами, по которым православный серб мог “законно” убивать и при этом не бояться Страшного суда».

Важно отметить, что эта идеология опиралась на ту же самую псевдоэкспертную базу, которая позже расцветет в России. Сербские епископы оправдывали зверства своих военных, опираясь на доклады специалистов Военно-медицинской академии, в частности, нейропсихиатра и известного борца с «сектами» полковника Братислава Петровича. Именно антикультисты поставляли церкви нарративы о том, что противник — это не просто соседний народ, а носитель демонической или неонацистской угрозы.

Противников сербского национализма стигматизировали, называя «устахами» (отсылка к хорватским фашистам времен Второй мировой войны), что позволяло объявить любую агрессию «оборонительной» и «освободительной». В 1999 году, во время войны в Косово, Патриарх Павел в интервью журналу «Светигора» прямо заявил, что агрессивная война неприемлема, однако «оборонительная, освободительная война — благословенна». Таким образом, любые территориальные захваты и этнические чистки получали статус священной обороны.

Спустя четверть века эта же самая матрица была применена в России, но уже в масштабах ядерной державы. Концепция «справедливой войны», прописанная в Социальной концепции РПЦ, требует соблюдения строгих

критериев: любви к ближним, осознания потребностей других народов и, что самое важное, высокого «нравственного состояния воюющих», которое определяется отношением к мирному населению и пленным.

Однако реальность боевых действий — разрушенные до основания города, массированные обстрелы гражданской инфраструктуры, свидетельства о пытках и внесудебных казнях — полностью перечеркивает эти критерии. Столкнувшись с этим вопиющим противоречием между декларируемыми идеалами и кровавой практикой, религиозная институция сделала свой выбор. Вместо того чтобы возвысить пророческий голос и осудить насилие, она предпочла выдать государству генеральную индульгенцию.

Обещание того, что смерть в бою «смывает все грехи», стало финальным аккордом в процессе расчеловечивания. Если убийство больше не является грехом, а смерть гарантирует рай, то ценность человеческой жизни — как чужой, так и своей собственной — обнуляется. Война перестает быть трагедией, которую нужно как можно скорее прекратить дипломатическим путем. Она превращается в гигантский сакральный конвейер по производству воинов, чья смерть религиозно переосмысливается как искупительная, где количество пролитой крови становится мерилom духовного величия нации.

Эта моральная амнистия имеет глубоко разрушительные последствия не только для тех, против кого направлено оружие, но и для самого общества, которое эту амнистию принимает. Человек, поверивший в то, что его преступления могут быть списаны приказом командира и благословением священника, теряет внутренний нравственный компас. Он возвращается с фронта в мирную жизнь с искаженным пониманием добра и зла, уверенный в своей исключительности и праве на насилие, которое однажды уже было названо святым.

В гулких, полупустых храмах, где запах ладана смешивается с тревогой матерей и жен, пришедших поставить свечи за ушедших на фронт, звучат слова о великой жертве и небесных венцах. Но за торжественной риторикой скрывается леденящая пустота. Солдат, нажимающий на спусковой крючок в уверенности, что кровь врага очистит его собственную душу, совершает не религиозный подвиг. Он совершает акт абсолютного духовного самоубийства,

санкционированный теми, кто должен был удержать его от шага в бездну. И когда рассеется дым сражений, общество, променявшее Евангелие на обещание безнаказанности, неизбежно обнаружит, что вместе с чужими жизнями оно уничтожило и свое собственное право называться христианским.

Глава 9. Богословие исключения

За закрытыми дверями епархиальных управлений, в кабинетах, украшенных массивными иконами и портретами правящих архиереев, вершатся судьбы людей, посвятивших свою жизнь служению алтарю. Священник, вызванный на церковный суд, стоит перед комиссией, состоящей из его недавних собратьев. Ему не вменяют в вину нарушение догматов веры, растрату церковного имущества или аморальное поведение. Его преступление носит совершенно иной характер: он осмелился публично усомниться в праведности военного насилия или призвал свою паству к миру в тот момент, когда государственная машина потребовала безоговорочной поддержки кровопролития.

Приговор в таких случаях предрешен. За считанные минуты человек лишается сана, права носить священнические одежды, преподавать благословение и совершать таинства. Он изгоняется из храма, который мог восстанавливать из руин собственными руками, и остается на улице без средств к существованию, с клеймом клятвопреступника.

Эта безжалостная система внутренних репрессий, методично перемалывающая несогласных клириков Русской православной церкви, не была создана в одночасье с началом полномасштабных боевых действий. Военный кризис лишь обнажил и вывел на максимальную мощность тот инквизиторский аппарат, который конструировался, тестировался и внедрялся в церковную ткань на протяжении предшествующих десятилетий. И главными архитекторами этой системы внутреннего террора выступили те самые

структуры, которые официально декларировали своей целью защиту православия от внешних угроз — антикультовые центры.

Чтобы понять, как Церковь, призванная быть пространством милосердия и свободы воли, трансформировалась в институт тотального контроля и одобрения государственного насилия, необходимо проследить эволюцию ее внутренней политики.

В 1990 году, на излете советской эпохи, в России был принят Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Этот документ провозглашал равенство всех религий перед законом, гарантировал отделение Церкви от государства и запрещал государственное вмешательство в дела религиозных организаций. Для миллионов верующих это стало глотком свежего воздуха после десятилетий государственного атеизма. Казалось, что страна вступает в эпоху либеральных перемен, а Церковь сможет сосредоточиться на проповеди Евангелия, духовном просвещении и исцелении травм прошлого.

Однако этот период свободы оказался недолгим. Внутри церковной ограды начали стремительно набирать силу фундаменталистские настроения. Священники, ориентированные на открытый диалог с обществом, просвещение и объединение людей вокруг евангельских идеалов, стали восприниматься как угроза формирующейся новой властной вертикали.

Первым масштабным полигоном, на котором была отработана технология уничтожения неудобных клириков, стало дело священника Георгия Кочеткова в конце 1990-х годов. Его община, отличавшаяся активной катехизаторской деятельностью и попытками осмысленного участия мирян в богослужении, подверглась беспрецедентной травле. Противники использовали методы, которые впоследствии станут золотым стандартом антикультовой сети: клевету в медиа, фабрикацию доказательств и навешивание ярлыков.

В прямом эфире на радио «Радонеж» — одной из главных площадок формирующегося радикального крыла — регулярно выступали протоиереи и дьяконы, формируя образ внутреннего врага. Поддержку этой кампании обеспечило широкое распространение фильма «Разоблачение», сфабрикованного на основе видеозаписи инцидента в храме. Удивительно, но эти видеозаписи изначально передало в патриархию само Преображенское

братство для доказательства своей невиновности. Но обвинители вывернули факты наизнанку. Многие годы этот фильм распространялся через церковные лавки, организовывались его коллективные просмотры в епархиях и духовных учебных заведениях. В клир Москвы перестали принимать кандидатов без свидетельства об однозначно отрицательном отношении к отцу Георгию.

Итогом этой кампании стало наложение прещений на самого священника Георгия Кочеткова и двенадцать его прихожан; в марте 2000 года эти прещения были сняты. Никита Струве, главный редактор журнала «Вестник Русского христианского движения», пытавшийся заступиться за гонимого клирика, оставил поразительное свидетельство о своей встрече с высшим руководством Церкви:

«Наши расхождения с Патриархом начались в связи с бессрочным (!) запрещением, которое постигло отца Георгия Кочеткова и двенадцать его сотрудников без какой-либо фактической серьёзной причины. К этому времени окружение Патриарха заметно изменилось не в лучшую сторону (был удалён честнейший Борис Борисович Вик). Я спросил Патриарха, в чём же о. Георгий провинился, но он только мне ответил: “Он — гордый”. — “В таком случае, — сказал я, — столько нужно было бы запретить, начиная с Вашего посетителя”. Через год, так как запрещение всё длилось, я снова при очередном посещении поднял этот вопрос, умоляя о снятии запрещения. И даже в пылу сказал: “Я готов встать перед Вами на колени...”. Тут Патриарх встrepенулcя и вскочил со своего кресла, умоляя этого не делать. А на прощание всё же сказал: “Пожалуйста, ко мне ещё приходите”. Но этому визиту суждено было стать последним».

Этот исторический эпизод наглядно демонстрирует зарождение новой парадигмы: для сурового канонического наказания больше не требовалось реального преступления или ереси. Достаточно было обвинения в «гордости» — субъективного, не поддающегося юридической или богословской оценке критерия, который идеально подходил для устранения любого независимого голоса.

С годами эта практика не просто закрепилась, она была институционализирована. И ключевую роль в этом сыграла Российская

ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Организация, формально созданная для противодействия новым религиозным движениям, постепенно трансформировалась в влиятельный церковно-общественный механизм надзора и стигматизации.

Антикультисты получили негласную монополию на определение того, кто является «правильным» православным, а кто подлежит стигматизации. Они начали применять свой специфический словарь, разработанный для борьбы с сектами, к каноническим приходам и священнослужителям.

Исследователь и журналист Валерий Отставных в своем интервью предельно точно описал механику работы этой структуры:

«— Нет, РАЦИРС — это общественная организация. Православная общественная организация, которая действует по благословению патриарха, она имеет право давать оценку деятельности тех или иных религиозных организаций, в том числе внутри православной церкви.

— Получается, что не нужно со стороны Патриархии какого-то одобрения?

— Нет. Раньше у Александра Дворкина были хорошие отношения с патриархом Алексием II, не знаю, как сейчас с Кириллом. Поэтому, нет. Они действуют самостоятельно, абсолютно автономно и ни на кого не оглядываются. Получается, знаете, такая служба внутренней безопасности, наподобие служб собственной безопасности в МВД, ФСБ и иных спецслужбах.

— Ну да, которая за коррупцией в рядах следит и так далее?

— Не столько за коррупцией, сколько за дисциплиной и единомыслием. РАЦИРС стал восприниматься архиереями как некая служба собственной безопасности, которая непосредственно подчинена патриархату. Хотя это нигде не прописано, так сложилось. И её действия, её позиция — это позиция патриархии или патриарха, как минимум. Это нигде не озвучивается, но, я думаю, что это подразумевается.

— А в реальной жизни это как проявляется?

— Ни разу не видел, чтобы Дворкина или РАЦИРС как организацию кто-то из архиереев поставил на место, или попытался дискутировать или попытался

конфликтовать с ними. Ни прошлый патриарх, ни нынешний ни разу этого не делали на моей памяти».

Делегирование функций надзора за «единомыслием» парамилитарной по своей сути общественной организации имело катастрофические последствия для внутренней жизни Церкви. Епархии погрузились в атмосферу страха, подозрительности и доносительства. Священники осознали, что их каноническое подчинение правящему архиерею не гарантирует им защиты. В любой момент на их приход мог обратить внимание антикультовый центр, выпустить «разоблачительную» публикацию, и церковное руководство, избегая конфликта с влиятельной сетью, просто сдаст своего клирика.

Ярчайшим примером такой расправы стало дело протоиерея Владимира Головина из города Болгар. Это был каноничный священник, находившийся в полном подчинении у своего епископа, имевший огромную паству и занимавшийся активной проповеднической деятельностью. Однако его популярность и независимость вызвали раздражение.

Кампанию по его дискредитации публично инициировал вице-президент РАЦИРС протоиерей Александр Новопашин. В одном из интервью он с нескрываемым удовлетворением признался:

«Вы знаете, совсем недавно лишён сана протоиерей Владимир Головин из города Болгар в Татарстане. Так уж получилось, что я к этому очень серьёзно приложил руку. Я первый, кто выступил публично на Рождественских образовательных чтениях в прошлом году в Москве».

Позже выяснилось, что заказчиком этого доклада выступил сам президент РАЦИРС. На сайте центра была опубликована статья с характерным заголовком: «Похоже, мы проморгали создание настоящей секты». Использование слова «секта» по отношению к православному приходу стало спусковым крючком. Вслед за длительной медийной травлей патриарх утвердил решение церковного суда о лишении сана как самого отца Владимира, так и его сына.

Этот кейс окончательно закрепил новые правила игры. Антикультовая сеть доказала, что способна уничтожить любого священнослужителя, навесив на него ярлык «сектанта» или «раскольника». Внутри Церкви сформировалась

жесткая тоталитарная культура, где критическое мышление, богословский поиск и пастырская независимость приравнивались к предательству.

Именно эта выжженная, запутанная и приученная к беспрекословному подчинению церковная среда столкнулась с вызовами военного времени. Когда государство потребовало от религиозных институтов полной идеологической поддержки вооруженного конфликта, внутри Московской патриархии не нашлось институциональных сил для сопротивления. Те, кто мог бы возвысить пророческий голос, были либо давно изгнаны, либо маргинализированы, либо парализованы страхом перед отлаженной машиной внутренних репрессий.

Здесь мы подходим к одному из самых трагических парадоксов современной церковной истории — предательству собственных фундаментальных документов.

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе был принят беспрецедентный для восточного христианства документ — «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот текст, разрабатывавшийся лучшими богословскими умами того времени, должен был определить рамки взаимодействия Церкви, государства и общества в новых исторических условиях.

В документе содержался пункт, который сегодня кажется немыслимым. В разделе, посвященном отношениям Церкви и государства, прямо утверждалось право на гражданское неповиновение. Текст гласил, что если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Священноначалие обязывалось вступить в диалог с властью, а при невозможности компромисса — призвать народ к мирному гражданскому неповиновению.

Этот пункт был важнейшим предохранителем. Он гарантировал, что Церковь никогда больше не станет слепым орудием в руках светских правителей, требующих нарушения евангельских заповедей. Участие в несправедливой, захватнической войне, сопровождающейся массовой гибелью мирного населения, с точки зрения классического христианского богословия, является безусловным греховным и душевредным деянием.

Однако, когда наступил исторический момент для применения этой нормы, «Основы социальной концепции» были преданы забвению. Церковное руководство не просто отказалось вступать в диалог с властью о недопустимости кровопролития; оно активно включилось в процесс сакрализации этого кровопролития. Предохранитель был сорван.

Священники, которые попытались опереться на этот документ, которые в своих проповедях напоминали о недопустимости братоубийства и призывали к миру, немедленно оказались под ударом той самой инквизиторской машины, которая годами тренировалась на поиске «внутренних сект».

Механика репрессий против антивоенно настроенных клириков поражает своей обыденной жестокостью. Доносы на священников пишут их собственные прихожане, воспитанные на лекциях сектоведов о необходимости бдительности и поиска скрытых врагов. Доносы пишут собраты по алтарю, стремящиеся выслужиться перед начальством или искренне отравленные пропагандой.

Священника вызывают в епархиальное управление. Ему не предлагают богословской дискуссии. От него требуют подписать покаянное письмо, публично отказаться от своих взглядов и присягнуть на верность политическому курсу. В случае отказа запускается процедура церковного суда. Судебные заседания проходят в закрытом режиме, обвиняемый лишен права на полноценную защиту, а решения часто принимаются с грубыми нарушениями канонических процедур.

Формулировки приговоров стандартны: «нарушение священнической присяги», «самочинное изменение богослужебных текстов», «внесение соблазна в среду верующих». За этими сухими канцелярскими фразами скрывается трагедия человека, который просто отказался называть зло добром. Лишение сана в современной РПЦ стало аналогом гражданской казни. Человек, отдавший десятилетия служению, имеющий многодетную семью, в одночасье лишается не только дохода, но и социального статуса, жилья (если оно предоставлялось приходом) и круга общения, так как оставшимся клирикам негласно не рекомендуется поддерживать контакты с «запрещенными».

Эта система тотального подавления инакомыслия привела к глубочайшей внутренней мутации самой религиозной организации. Известный священник и

правозащитник Глеб Якунин, долгие годы изучавший архивы спецслужб и методы работы церковной номенклатуры, в своей работе «Исторический путь православного талибанства» дал предельно жесткую, но точную оценку происходящему:

«...была создана совершенно новая, чуждая православной традиции, религиозная организация тоталитарного типа...»

Эта тоталитарная организация, сохранив внешние атрибуты православия — купола, облачения, древние песнопения, — полностью выхолостила их внутреннее содержание. Богословие любви и искупления было заменено богословием исключения и ненависти.

Закономерным и неизбежным следствием этой внутренней деградации стала резкое ухудшение отношений Московского патриархата с рядом поместных православных церквей и серия разрывов общения. На протяжении веков Православная церковь мыслила себя как единый, вселенский организм, где различные поместные церкви связаны узами евхаристического общения и братской любви. Однако поддержка военной агрессии, оправдание насилия и агрессивная экспансия на канонические территории других церквей в том числе учреждение в 2021 году Патриаршего экзархата Африки после конфликта с Александрийским патриархатом привели к резкому обострению этих связей.

Константинопольский патриархат, Александрийская православная церковь, Церковь Кипра, Элладская православная церковь — одна за другой мировые православные юрисдикции начали дистанцироваться от Москвы. Разрыв евхаристического общения, инициированный самим руководством РПЦ в ответ на признание автокефалии Православной церкви Украины, превратил Московский патриархат в изолированную структуру.

Эта изоляция имеет не только политическое, но и глубокое теологическое измерение. Церковь, которая отгораживается от всего мира, которая объявляет всех несогласных еретиками, раскольниками или служителями сатаны, которая опирается на силовой аппарат государства для подавления инакомыслия внутри себя, перестает быть Вселенской. Она сжимается до размеров национальной структуры, обслуживающей геополитические интересы конкретного политического режима.

Антикультовая сеть, десятилетиями пугавшая общество угрозой «тоталитарных сект», в конечном итоге способствовала превращению в такую секту самой крупной религиозной организации страны. Все признаки деструктивного культа, которые сектоведы так тщательно выписывали в своих методичках — жесткая иерархия, нетерпимость к критике, контроль над сознанием адептов, агрессивное отношение к внешнему миру, слияние с государственным аппаратом принуждения, — сегодня в полной мере присущи структуре, от имени которой они выступают.

В пустом, гулком храме на окраине провинциального города пожилой священник аккуратно складывает на престоле свой наперсный крест и епитрахиль. Через час он должен покинуть территорию прихода по указу правящего архиерея. На столе в алтаре лежит копия решения церковного суда, где черным по белому написано, что его призывы к милосердию и отказу от пролития крови признаны несовместимыми со священным саном. Он выходит из храма, закрывает тяжелые дубовые двери и спускается по ступеням, оставляя за спиной институцию, которая научилась безупречно освящать металл, но навсегда разучилась прощать людей.

Глава 10. Антикультовая сеть как фабрика смыслов

В типичном зале провинциального районного суда, где обшарпанные стены помнят тысячи рутинных дел о кражах и бытовых конфликтах, слушается дело, которое на первый взгляд кажется абсурдным для светского правового государства. На скамье подсудимых — лидер локальной религиозной общины или руководитель центра йоги. Прокурор монотонным голосом зачитывает обвинительное заключение, требуя реального тюремного срока по статье об экстремизме или создании организации, посягающей на личность и права граждан. Защита представляет десятки свидетелей, которые утверждают, что участие в общине было добровольным, никто не принуждал их передавать

имущество, а их психологическое состояние только улучшилось. Адвокаты кладут на стол судьи международные хартии, выдержки из Конституции и заключения независимых психиатров.

Но все эти аргументы разбиваются о стопку бумаги, лежащую перед судьей. На титульном листе этого документа значится: «Комплексная психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертиза». Именно эта папка с печатным текстом обладает в зале суда магической, непререкаемой силой. Судья, не имеющий теологического или психологического образования, с облегчением опирается на выводы людей, чьи фамилии сопровождаются длинным списком регалий и научных степеней. Если в документе написано, что подсудимый применял «скрытое психологическое насилие» и руководил «деструктивным культом», значит, так оно и есть. Приговор предопределен.

Этот судебный процесс — не единичный сбой правовой системы. Это финальный этап работы колоссальной, тщательно отлаженной экосистемы, которая на протяжении десятилетий производила язык вражды, упаковывала его в наукообразную форму и конвертировала в реальные тюремные сроки. Чтобы понять, как целое общество впоследствии согласилось с необходимостью массового насилия на государственном уровне, необходимо препарировать эту инфраструктуру. Инфраструктуру, где псевдоэксперты, силовики, церковные функционеры и медиа образовали замкнутый контур взаимной легитимации.

Ключевой точкой сборки этой системы стал 2009 год. Именно тогда произошел тихий, почти незаметный для широкой общественности, но тектонический по своим последствиям бюрократический переворот. При Министерстве юстиции Российской Федерации был утвержден новый состав Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Этот орган, призванный давать объективную, научно обоснованную оценку уставам и литературе религиозных организаций для их регистрации или ликвидации, возглавил Александр Дворкин — человек, чье назначение критиковалось частью академического и правозащитного сообщества как недостаточно академически нейтральное, но являющийся главным идеологом антикультового движения в стране.

Вместе с ним в совет вошли его ближайшие соратники и члены Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Государственный институт, который по определению должен был сохранять нейтралитет и опираться на академическую науку, был фактически оказался под сильным влиянием представителей одной радикальной околоцерковной группировки. С этого момента маргинальная риторика получила официальную государственную печать.

Резкая перестройка Экспертного совета при Минюсте стал сигналом для всей правоохранительной системы. Оперативники ФСБ, сотрудники Центров по противодействию экстремизму (Центр «Э») и следователи прокуратуры на местах получили институциональное подтверждение того, что дела против религиозных меньшинств могут опираться на новый тип экспертных заключений. Так сформировался симбиоз силовиков и антикультистов. Логика этого сотрудничества была предельно прагматичной и строилась на взаимной выгоде.

Для сотрудников правоохранительных органов борьба с реальным терроризмом или организованной преступностью сопряжена с риском для жизни, требует длительной оперативной работы и не всегда гарантирует результат. Гораздо безопаснее и эффективнее для статистики раскрываемости бороться с мирными верующими, читающими не те книги, или с последователями нетрадиционных духовных практик. Они не оказывают вооруженного сопротивления, их адреса известны, они регулярно собираются вместе. Чтобы превратить их в «экстремистское сообщество», следователю не хватало только одного — документа, который перевел бы их молитвы или лекции в разряд уголовного преступления.

Здесь на сцену выходили представители РАЦИРС и аффилированные с ними структуры. Они предоставляли силовикам готовый продукт — экспертизу, выводы которой совпадали с обвинительной логикой следствия.

Производство таких экспертиз превратилось в самостоятельную, теневую отрасль. В регионах начали появляться так называемые фирмы-«однодневки» — коммерческие структуры, зарегистрированные в форме обществ с ограниченной ответственностью, с громкими названиями вроде «Центр

культурологических и религиоведческих исследований». Характерная черта таких организаций — отсутствие реального штата научных сотрудников, нулевой индекс цитируемости в рецензируемых академических журналах и отсутствие профильных лабораторий. Часто такая фирма состояла из одного учредителя, который одновременно выступал и директором, и главным экспертом.

Эти структуры предлагали следственным органам услуги по написанию заключений в сжатые сроки. Их главная ценность заключалась не в научной глубине, а в готовности подписать любой вывод, необходимый обвинению. Юридические выводы в таких документах регулярно выходили за рамки компетенции авторов. Лингвисты брались судить о теологии, психологи ставили психиатрические диагнозы по текстам брошюр, а религиоведы делали безапелляционные заявления о наличии умысла на свержение государственного строя.

В нормальной правовой среде действия таких специалистов должны были бы квалифицироваться по статье 307 Уголовного кодекса РФ — «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Однако эта статья в отношении антикультовых экспертов практически не применялась. Силовой зонтик надежно защищал их от любой ответственности. Суды, встроенные в ту же вертикаль власти, систематически отклоняли ходатайства защиты о проведении независимых повторных экспертиз в ведущих академических институтах страны, таких как МГУ или институты Российской академии наук. Судьям было комфортнее работать с проверенными поставщиками нужных смыслов.

Показательным примером того, как функционировала эта связка, стал беспрецедентный судебный процесс в Томске в 2011 году. Местная прокуратура, опираясь на материалы ФСБ, подала иск о признании экстремистским материалом книги «Бхагавад-гита как она есть» — русского перевода и комментария к одному из ключевых текстов индуистской традиции, широко распространенного в Международном обществе сознания Кришны.

Инициация этого позорного для страны процесса стала возможной исключительно благодаря экспертизе, подготовленной специалистами

Кемеровского государственного университета, тесно связанными с антикультовой сетью. В своем заключении они усмотрели в древнем философском трактате признаки «разжигания религиозной розни» и «унижения достоинства по признаку отношения к религии». Тот факт, что текст является священным для одной из древнейших мировых религий, экспертов не смутил. Они действовали по отработанному шаблону, применяя критерии оценки политических листовок к многовековому духовному наследию.

Томский кейс вызвал международный скандал, дошедший до уровня дипломатических нот со стороны Индии и обсуждения в парламенте этой страны. Под колоссальным внешним давлением российский суд в итоге отклонил иск прокуратуры. Однако этот сбой в системе произошел лишь потому, что антикультисты по неосторожности замахнулись на мировую религию, за которой стояло мощное государство. В тысячах других случаев, когда мишенью становились локальные общины, не имеющие международной поддержки, этот же самый механизм работал безотказно, перемалывая судьбы людей.

Институциональная деформация затронула не только суды и спецслужбы, но и саму Русскую православную церковь. РАЦИРС, формально являясь общественной организацией, де-факто интегрировалась в церковные структуры, получив статус влиятельного авторитета в вопросах внутренней и внешней безопасности патриархии.

Внутри епархий начали создаваться миссионерские отделы, чья деятельность сводилась не к проповеди Евангелия, а к сбору компромата на конкурентов. В инструкциях, которые распространялись среди православных молодежных организаций, прямо предписывалось использовать методы оперативной работы. В базовых документах, регламентирующих эту деятельность, содержались недвусмысленные указания:

«Далее следует указать суть деструктивного характера деятельности и учения конкретной секты со ссылками на судебные решения и акты государственных органов, а также на итоговые документы конференций».

Эта цитата вскрывает суть круговой поруки. Антикультисты сами инициировали судебные процессы через подконтрольных экспертов, сами организовывали конференции, где принимали резолюции об опасности тех или

иных групп, а затем использовали эти же сфабрикованные судебные решения и резолюции как «доказательства» для написания новых экспертиз и методичек. Возникал идеальный замкнутый цикл производства ненависти, не нуждающийся в соприкосновении с объективной реальностью.

Участие в этой экосистеме приносило ее акторам колоссальные дивиденды. Борьба с внутренним врагом оказалась чрезвычайно прибыльным бизнесом и социальным лифтом.

Для рядового провинциального священника или неудавшегося светского ученого статус «эксперта-сектоведа» открывал двери в кабинеты мэров, губернаторов и начальников региональных управлений ФСБ. Они становились желанными гостями на федеральных телеканалах, получали государственные гранты на проведение исследований и издание литературы. Их приглашали читать лекции в университетах МВД и академиях ФСБ, где они формировали мировоззрение будущих следователей и судей.

Особой статьей доходов и влияния стала сеть так называемых «реабилитационных центров для жертв нетрадиционных религий». Эти структуры, создаваемые при епархиях или как независимые НКО, позиционировали себя как спасительные гавани для людей, пострадавших от психологического насилия. Однако реальная картина их деятельности была совершенно иной.

В одном из редких откровенных интервью представитель антикультового движения проговорился о реальной клиентуре этих заведений:

«К нам приходили, если честно говорить, в основном не пострадавшие, а сами мамы-папы».

Эта фраза обнажает циничную экономику страха. В реабилитационные центры обращались не сами члены религиозных меньшинств — они, как правило, чувствовали себя вполне комфортно в своих общинах. Туда приходили их напуганные родственники. И напуганы они были не объективными изменениями в поведении своих детей или супругов, а той самой массивной пропагандой, которую антикультисты ежедневно транслировали через медиа.

Сначала сеть через газеты и телевидение внушала обществу панический ужас перед «тоталитарными сектами», рассказывая леденящие кровь истории о зомбировании, потере квартир и ритуальных самоубийствах. Затем, когда охваченные паникой родители обнаруживали, что их ребенок увлекся йогой, стал посещать протестантские богослужения или читать эзотерическую литературу, они в ужасе бежали за помощью. И единственными, кто предлагал эту «помощь», оказывались те же самые люди, которые спровоцировали панику.

Родителям предлагались платные консультации, услуги по «депрограммированию» и юридическое сопровождение для принудительного извлечения родственника из общины. Таким образом, антикультовая сеть сама создавала спрос на свои услуги, сама его удовлетворяла и сама же использовала статистику обращений испуганных родственников как доказательство масштабов «сектантской угрозы» для получения новых государственных грантов.

Четвертым, и возможно, самым важным элементом этого замкнутого контура стали средства массовой информации. Медиа выполняли функцию легализации репрессий в глазах широкой общественности.

Сотрудничество силовиков, экспертов и журналистов было отработано до автоматизма. Когда Центр «Э» планировал обыск в молельном доме или офисе общественной организации, съемочная группа федерального или регионального телеканала прибывала на место вместе со спецназом. Зрителю демонстрировалась эффектная картинка: люди в масках выламывают двери, кладут на пол испуганных верующих, изымают литературу.

Закадровый текст в таких сюжетах всегда строился по лекалам РАЦИРС. Журналисты не утруждали себя независимым расследованием или предоставлением слова обвиняемым. Они просто зачитывали выдержки из заранее подготовленных экспертных заключений. В эфире звучали слова о «финансовой пирамиде», «контроле сознания» и «подготовке к массовым беспорядкам». В качестве приглашенного комментатора в студии обязательно появлялся представитель антикультового центра, который с трагическим выражением лица подтверждал, что спецслужбы в последний момент спасли город от страшной угрозы.

Эта медийная накачка решала сразу несколько задач. Во-первых, она обеспечивала общественную поддержку действиям силовиков — никто не будет сочувствовать людям, которых по телевизору называли опасными фанатиками. Во-вторых, она оказывала колоссальное давление на суд. Судья, которому предстояло вынести приговор, понимал, что оправдательный вердикт вызовет шквал критики в прессе и обвинения в пособничестве экстремистам. В-третьих, она постоянно поддерживала в обществе градус тревожности и подозрительности, заставляя граждан искать скрытых врагов среди своих соседей и коллег.

Постепенно язык, выработанный в недрах этой экосистемы, начал отрываться от своей первоначальной религиозной почвы. Терминология, созданная для описания маргинальных культов, оказалась настолько удобным инструментом стигматизации, что ее начали применять к любым формам гражданской активности.

Если группа экологов протестовала против вырубки леса или строительства мусорного полигона, в местной прессе немедленно появлялись статьи, написанные при участии антикультовых экспертов. В них утверждалось, что протестующие действуют не из заботы об экологии, а находятся под влиянием «деструктивного экологического культа», чьи лидеры манипулируют сознанием молодежи. Если правозащитники публиковали отчеты о пытках в колониях, их объявляли «адептами западной правозащитной секты», отрабатывающими зарубежные гранты.

Инфраструктура, изначально созданная для подавления религиозного инакомыслия, превратилась в универсальную фабрику по производству политических ярлыков. Эксперты, набившие руку на поиске скрытого экстремизма в текстах кришнаитов или свидетелей Иеговы, с той же легкостью начали находить признаки «психологического манипулирования» в постах оппозиционных политиков, текстах независимых журналистов и уставах некоммерческих организаций.

Государство получило в свое распоряжение идеальный механизм подавления. В отличие от прямых политических репрессий, которые всегда вызывают вопросы о нарушении свободы слова и демократических процедур,

преследование под флагом «борьбы с деструктивными культами» выглядело как забота о психологическом здоровье нации. Экспертиза стала тем самым фиговым листком, который прикрывал наготу государственного насилия.

За этой канцелярской обыденностью скрываются сломанные судьбы, конфискованное имущество и годы тюремного заключения для людей, чья единственная вина заключалась в том, что их картина мира не совпала с той, которую утвердили представители антикультовой сети. И именно эта отлаженная, привыкшая к безнаказанности бюрократическая машина, научившаяся профессионально расчеловечивать собственных граждан за государственные деньги, в скором времени будет развернута в сторону соседнего государства.

Глава 11. От маргинального языка к государственному

12 февраля 2004 года. Актальный зал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова заполнен доверенными лицами президента. Владимир Путин, находящийся на пике своего первого президентского срока, произносит речь, которая сегодня читается как артефакт из параллельной реальности. Говоря о проблемах государственного устройства, российский лидер формулирует фундаментальный принцип взаимоотношений власти и общества:

«Особый вопрос — административный произвол правоохранительной системы. Здесь также сохраняется база для так называемых внепроцедурных, то есть не предусмотренных законом действий сотрудников различных органов и служб. Между тем граждане — это не объект воздействия карательной машины. Государство, включая его силовые структуры, должно прежде всего работать на граждан, защищать их права, интересы, собственность, не говоря уже о защите их безопасности и самой жизни».

В этих словах зафиксирована классическая демократическая парадигма: государство признает опасность собственного силового аппарата и декларирует необходимость защиты граждан от его произвола.

Спустя шестнадцать лет, 29 мая 2020 года, тот же самый политический лидер подписывает Указ об утверждении новой редакции «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». В этом документе, определяющем вектор работы всех силовых ведомств страны, значительно расширяется язык превентивного подозрения в отношении групп и сред, которые могут быть представлены как носители экстремистской угрозы. Текст пронизан концепциями, которые еще в начале двухтысячных считались уделом радикальных уличных активистов и религиозных фундаменталистов.

Как произошла эта радикальная трансформация? Каким образом словарь маргинальных борцов с инакомыслием преодолел дистанцию от дешевых самиздатовских брошюр до столов в кабинетах Администрации Президента и залов судебных заседаний по политическим делам?

Процесс проникновения специфического псевдорелигиозного языка в кровеносную систему государства не был одномоментным. Он представлял собой длительную осаду институтов власти, где главными мишенями стали люди, принимающие решения, и силовой аппарат.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов антикультовое движение в России представляло собой относительно небольшую группу энтузиастов. Они организовывали пикеты у мест собраний новых религиозных движений, раздавали листовки и пытались привлечь внимание прессы к «сектантской угрозе». Их риторика была перенасыщена теологическими терминами, эсхатологическим страхом и конспирологией. Для светского чиновника или милиционера того времени эти люди выглядели как городские сумасшедшие или, в лучшем случае, как участники узкоконфессионального спора, в который государству вмешиваться не следует.

Осознав, что уличная активность не приносит желаемых результатов, лидеры антикультовой сети кардинально сменили тактику. Они начали целенаправленную работу по идеологическому влиянию на сотрудников правоохранительных органов.

Статус сектоведов начал стремительно меняться. Из уличных пикетчиков они превратились в уважаемых лекторов. Александр Дворкин, Александр Новопашин и их соратники стали регулярно появляться на конференциях, образовательных площадках и экспертных мероприятиях, связанных с правоохранительной и образовательной сферой. Они предлагали силовикам простую, пугающую и очень удобную картину мира.

В аудиториях, где сидели будущие и действующие следователи, антикультисты рассказывали не о богословских разногласиях. Они перевели свой язык на понятный силовикам диалект национальной безопасности. Религиозные меньшинства описывались не как инаковерующие, а как законспирированные агентурные сети западных спецслужб, чья цель — подрыв конституционного строя, сбор разведывательных данных и финансовое истощение граждан.

Эта тактика сработала заметно. Многие государственные служащие, чье мнение формировалось в условиях закрытой ведомственной среды, оказались абсолютно невосприимчивы к критическому анализу подобной информации. Как отмечают исследователи этого феномена, чиновники редко утруждали себя глубоким изучением вопроса. У них не было ни времени, ни компетенций, чтобы отличить академическое религиоведение от агрессивной пропаганды. В результате в сознании целого поколения силовиков укоренилась мысль, что борьба с «сектами» — это не нарушение свободы совести, а защита родины.

Институциональное закрепление этого успеха выразилось в том, что вчерашние маргиналы начали входить в состав общественных советов при региональных управлениях МВД, Следственного комитета и других государственных структурах. Получив официальные «корочки» членов общественных советов, они обрели легитимность. Теперь их слова воспринимались не как частное мнение религиозных активистов, а как позиция признанных государством экспертов.

Следующим этапом стало выведение этой риторики на высший политический уровень. Для этого антикультовая сеть использовала метод создания искусственного общественного запроса — своеобразных идеологических «потемкинских деревень».

Первые аномалии в публичном поле начали проявляться в конце 2000-х. К концу 2000-х антикультовая риторика уже стала заметной частью публичного языка, используемого рядом чиновников, депутатов и околোগосударственных экспертов.

Но ключевой, поворотный момент, зафиксировавший окончательное принятие антикультового словаря первым лицом государства, произошёл в 2012 году. Во время рабочей поездки Владимира Путина в Самарскую область состоялась его встреча с губернатором Николаем Меркушкиным и представителями общественности.

Среди тщательно отобранных участников встречи оказалась Елена Бельчикова — активная сторонница антикультового движения. Получив микрофон, она обратилась к президенту с тремя конкретными предложениями, которые словно были скопированы из методичек РАЦИРС: усовершенствовать законодательную базу для противодействия сектам, определить меры по прекращению деятельности незарегистрированных групп и доработать закон о противодействии экстремизму, внеся в него понятия «тоталитарных» и «деструктивных» сект.

Ответ российского лидера стал историческим водоразделом:

«Но что касается тоталитарных направлений деятельности, то это, конечно, то, что представляет безусловную угрозу для нашего государства, для нашего общества, для наших людей. Это охота не только за душами — это охота за имуществом, в конечном итоге всё сводится к охоте за имуществом этих людей, за их душами. Я согласен с Вами в том, что государственные структуры и на региональном уровне, и на федеральном должны подумать о совершенствовании нормативно-правовой базы, работая на этом направлении, и о практическом применении этих нормативных документов. Обязательно это сделаем, я согласен. Я сам выезжаю в регионы, часто бываю в регионах. Николай Иванович это знает, то там, то тут слышу о таких проблемах: вы не первая, кто поднимает этот вопрос. Как грибы и грибки растут и всякие избушки, где проводятся определённые обряды...»

В этом коротком монологе скрыта вся механика манипуляции высшим руководством. Фраза «то там, то тут слышу о таких проблемах» выдает

успешность стратегии антикультистов. Они методично заполняли встречи президента в регионах своими адептами, создавая у главы государства иллюзию массового народного недовольства. Такая риторика создавала у высшего руководства впечатление, что тема «сект» является социально значимой и требует государственного вмешательства.

Особого внимания заслуживает формулировка «охота за душами и имуществом». Это идеальная адаптация сложного теологического концепта для светского политика с опытом работы в спецслужбах. Разговоры о ересь и искажении догматов не нашли бы отклика у прагматичного чиновника. Но обвинение в мошенничестве («охота за имуществом») и психологическом контроле («охота за душами») мгновенно перевело религиозные группы в категорию криминальных и государственных угроз.

Слова президента стали сигналом для всей бюрократической машины. Журналисты государственных изданий немедленно растиражировали это заявление, создав мощный информационный прецедент. Антикультисты получили индульгенцию: теперь любые их действия, любые требования о запрете неудобных организаций могли опираться на железобетонный аргумент — «президент поручил бороться».

Однако для того, чтобы репрессивные законы были приняты обществом без сопротивления, язык государственных кабинетов нужно было перевести на язык массового потребителя. Эту задачу взяли на себя федеральные телевизионные ток-шоу.

В период с 2010 по 2015 годы российский телевизионный эфир захлестнула волна программ, посвященных разоблачению «сект». Формат этих передач был выверен до мелочей и представлял собой классический пример эмоционального конструирования реальности. Среди приглашенных экспертов в подобных фильмах и передачах фигурировал Александр Дворкин.

Сложные, многоуровневые концепции сектоведения адаптировались для массового зрителя через примитивные, но крайне эффективные триггеры. Термин «деструктивный культ» на телевидении визуализировался через образы плачущих матерей, чьи дети якобы ушли из дома, и рассказы о переписанных на

лидеров общин квартирах. Понятие «сектантское мышление» объяснялось через псевдопсихиатрический термин «зомбирование».

Ток-шоу работали как гигантский резонатор страха. В студии обязательно присутствовал «эксперт» из антикультовой сети, который выступал в роли непререкаемого авторитета. Он ставил диагнозы прямо в эфире, не утруждая себя доказательствами. Если представитель критикуемой группы пытался защищаться, ссылаясь на Конституцию или свободу совести, его голос тонул в криках приглашенной массовки и обвинениях ведущего.

Телевидение выполнило важнейшую функцию: оно нормализовало язык ненависти. Зритель привыкал к тому, что слово «сектант» является синонимом слова «преступник», а лишение таких людей базовых гражданских прав — это не произвол, а акт социальной защиты. Общество добровольно соглашалось на сужение пространства свободы в обмен на иллюзию безопасности от невидимой угрозы.

Когда почва была подготовлена, а общество запугано, антикультовый словарь начал свою финальную мутацию. Он оторвался от религиозного контекста и превратился в универсальное юридическое оружие для подавления любой формы инакомыслия.

Ключевую роль в этой трансформации сыграл Роман Силантьев — близкий к антикультовой среде религиовед и заместитель председателя экспертного совета при Минюсте в 2009 году, который пошел значительно дальше своего учителя.

Опираясь на наработки антикультового и сектоведческого дискурса, Роман Силантьев предложил новую дисциплину, которую назвал «деструктологией».

Если классическое сектоведение было сосредоточено прежде всего на религиозных меньшинствах, то «деструктология» претендовала на гораздо более широкое описание «деструктивных явлений». В этот размытый круг попадали религиозные группы, молодежные субкультуры, поклонники аниме, участники тренингов личностного роста, сторонники альтернативной медицины и политические оппоненты.

Такая рамка позволяла описывать как потенциально опасные самые разные социальные практики, не укладывающиеся в официально одобряемую систему «традиционных ценностей». Со временем этот язык стал использоваться не только в публицистике и экспертной среде, но и в уголовных делах, связанных с обвинениями в экстремизме и терроризме.

Наиболее известным примером стало дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их судили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», основанного на документальных историях российских женщин, завербованных через интернет и уехавших в Сирию к боевикам ИГИЛ. Авторы и защитники настаивали, что спектакль носил антитеррористический характер и исследовал механизмы вербовки, а не оправдывал их.

Тем не менее обвинение опиралось, в частности, на заключение Романа Силантьева, который усмотрел в пьесе признаки оправдания терроризма и «деструктивной идеологии». Именно вокруг допустимости такой экспертизы развернулась одна из ключевых дискуссий по делу: в 2023 году Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте указывал, что «деструктологическая экспертиза» не существует как самостоятельный вид судебной экспертизы, а сама деструктология не является наукой.

В июле 2024 года суд приговорил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Этот приговор зафиксировал страшную реальность. Язык, который тридцать лет назад звучал из мегафонов кучки радикалов у станций метро, язык, над которым смеялись академические ученые и который игнорировали серьезные юристы, стал официальным языком государственного обвинения.

Слова о «деструктивности» и «зомбировании» перестали быть просто агрессивной риторикой. Они обрели физический вес. Они превратились в наручники, защелкивающиеся на запястьях женщин-режиссеров. Они стали решетками камер, в которых годами сидят люди, чья вина заключается лишь в том, что они читали не те книги, молились не тем богам или ставили не те спектакли.

Государство, когда-то обещавшее не использовать карательную машину против своих граждан, полностью передало ключи от этой машины в руки тех,

кто профессионально конструирует врагов. И когда внутреннее пространство страны было полностью зачищено, а технология тотального обвинения отработана до автоматизма, этот колоссальный, изголодавшийся по новым целям механизм неизбежно должен был обратить свой взгляд за пределы государственных границ. Взгляд, в котором уже не оставалось места для политического диалога, а было лишь холодное, инквизиторское желание искоренить очередную, теперь уже геополитическую, «деструктивную угрозу».

Глава 12. Украина как полигон, Запад как следующая мишень

Логика конструирования образа врага через призму сектоведения обладает одной фундаментальной, встроенной в нее уязвимостью, которая одновременно является ее главным экспансионистским двигателем. Эта логика не терпит пустоты и не может остановиться на локальном уровне. Если вы объявляете целую страну «тоталитарной гиперсектой», а ее граждан — «зомбированными адептами», лишенными собственной воли, вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью ответить на следующий вопрос: кто является их кукловодом?

В классической антикультовой парадигме у любой секты всегда есть внешний, скрытый от глаз рядовых членов центр управления — харизматичный лидер или тайная организация, которая держит нити контроля, выкачивает ресурсы и направляет агрессию адептов. Применив эту матрицу к геополитическому конфликту, российская идеологическая машина сделала закономерный шаг. Украина в этой риторике оказывалась не самостоятельным субъектом, а бесправным «филиалом», полигоном, на котором отрабатывались технологии контроля сознания. Роль глобального «лидера культа» в этой схеме отводилась коллективному Западу.

Этот перенос риторики не был спонтанной реакцией на международные санкции или военную поддержку Киева. Он готовился десятилетиями, опираясь

на разветвленную транснациональную инфраструктуру, которая долгое время воспринималась западными демократиями как безобидное объединение общественных активистов. Речь идет о Европейской федерации центров исследования и информации о культах и сектах (FECRIS) — организации, которая, декларируя защиту прав человека, на практике способствовала переносу в Европу тех антикультовых подходов, которые в России давно стали частью репрессивной идеологической инфраструктуры.

Чтобы понять, как демократический мир оказался уязвим перед языком тотального обвинения, необходимо исследовать генетический код европейского антикультизма. В истории FECRIS и связанного с ней европейского антикультового дискурса заметную роль играли антиамериканские конспирологические мотивы. В фундаменте идеологии многих европейских борцов с сектами лежит убеждение, что Америка ведет целенаправленный заговор с целью ослабления национальной идентичности европейских стран, искусственно внедряя в них так называемые американские «секты».

Эта конспирология имеет и вполне конкретное документальное оформление. Среди текстов, обосновывающих необходимость жесткого противодействия религиозным меньшинствам, европейские антикультисты до сих пор используют книгу 1996 года «Мафия сект» и программную статью французского журналиста Бруно Фушера, опубликованную в 2001 году в издании *Le Monde Diplomatique*. Уже сам заголовок статьи выражал суть этой оптики: «Секты: троянский конь США в Европе».

Подобная позиция оказалась идеальным идеологическим мостом, соединившим европейских секуляристов и российских православных фундаменталистов. Российские идеологи, выстраивавшие концепцию «духовной безопасности» Русского мира, в значительной степени воспроизводили ту же схему: внутренние кризисы объяснялись внешним вмешательством коллективного Запада, который действует через «культи» и иные формы чуждого влияния.

Это совпадение риторических моделей получило и институциональное выражение. В официальных материалах FECRIS прямо утверждалось, что широкое развитие ее сети обусловлено «миграцией культов/сект из США и

Западной Европы в Восточную Европу», что якобы и вызвало создание восточноевропейских ассоциаций, впоследствии вошедших в федерацию.

В этом заявлении кроется поразительный парадокс. В 1999 году FECRIS составила хартию, в которой торжественно объявила себя «неполитической, нерелигиозной, нефилофской и некоммерческой организацией». Однако на практике федерация стала мощнейшим политическим инструментом, легитимизирующим репрессивные практики авторитарных режимов под видом борьбы с «миграцией культов».

Степень интеграции российских структур в эту европейскую сеть была беспрецедентной. Долгие годы представители российской ассоциации занимали руководящие посты в FECRIS, формируя ее повестку и используя статус европейской общественной организации для оправдания преследований верующих внутри России.

Когда весной 2022 года кадры разрушенных украинских городов облетели весь мир, а российская государственная пропаганда начала открыто использовать антикультовый словарь для оправдания агрессии, руководство FECRIS оказалось в неудобном положении. Вскоре после начала полномасштабного вторжения ссылки на связанные с федерацией российские организации исчезли с официального сайта FECRIS.

Для внешнего наблюдателя этот жест мог показаться актом разрыва связей, попыткой европейских активистов дистанцироваться от токсичных коллег, поддержавших кровопролитие. Однако документальные свидетельства доказывают, что это публичное очищение фасада было скорее попыткой скрыть преемственность прежних связей, чем реальным разрывом. Международная сеть не распалась и, судя по имеющимся данным, сохранила внутреннюю связность, несмотря на войну и гибель мирного населения.

Наиболее ярко эту теневую солидарность иллюстрирует хронология перемещений российского антикультиста Романа Силантьева летом 2022 года.

В конце июня 2022 года, на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, Силантьев оказался на оккупированной территории Донбасса, где участвовал в мероприятиях под антикультовыми и антиэкстремистскими лозунгами. Там он презентовал свою авторскую концепцию «деструктологии» — псевдонаучной

дисциплины, представляющей собой расширенное сектоведение, — и транслировал антиукраинскую и антизападную риторику, подводя псевдоакадемическую базу под действия оккупационных властей.

Казалось бы, после столь откровенного участия в идеологическом обслуживании войны путь в европейские институции для этого деятеля должен был быть закрыт. Но реальность оказалась иной.

Уже 15 июля 2022 года Роман Силантьев был представлен среди участников международной антикультовой конференции в Париже. Темой мероприятия было заявлено «влияние религиозных культов на психическое здоровье, социальные отношения и политику», а открывал его Дидье Пашу — казначей FECRIS и руководитель GEMPPI. В пресс-релизе, опубликованном позднее, участие российского идеолога было описано в подчеркнуто уважительных выражениях: «Профессор Роман Силантьев рассказал о новой прикладной науке под названием “деструктология”, которая изучает деструктивные идеологии как религиозного, так и светского характера».

Этот эпизод важен для понимания природы глобального антикультизма. Он показывает, что для части лидеров европейской сети идеологическая близость к российским коллегам оказывалась важнее политической и моральной дистанции, которую, казалось бы, должна была сделать неизбежной война. Они не просто предоставили Силантьеву площадку, но и фактически нормализовали язык его «деструктологии» — инструмента, который в России используется для обоснования репрессивных кампаний против независимой культурной и общественной среды.

Проникновение этой идеологии в европейские структуры не выглядело случайностью. Франция, где FECRIS базируется и получает публичную институциональную поддержку, действительно стала одной из ключевых площадок, через которые российские антикультовые нарративы получали европейскую оболочку легитимности.

Межминистерская миссия по борьбе с сектантскими отклонениями (MIVILUDES), являющаяся правительственным органом Франции и долгие годы существовавшая в тесной идейной и кадровой связке с антикультовой средой FECRIS, демонстрировала поразительную терпимость к фигурам и

инициативам, объективно работавшим в пользу российских политических интересов. Жорж Фенек, бывший глава MIVILUDES и впоследствии член ее руководящего круга, в 2019 году совершил демонстративную поездку в оккупированный Крым в составе группы французских политиков. Эта поездка носила откровенно пропагандистский характер: ее участники фактически способствовали легитимации российской аннексии.

Еще раньше, в 2013–2014 годах, когда в Украине разворачивались события Революции Достоинства, французская антикультовая среда добивалась продвижения в Парламентской ассамблее Совета Европы жесткой линии по вопросу «культов и несовершеннолетних». Ключевую роль здесь играл депутат Руди Саллес, подготовивший доклад «Защита несовершеннолетних от злоупотреблений со стороны сект» («The protection of minors against excesses of sects») и тесно связанный с французским антикультовым полем. В документах самих антикультовых активистов прямо говорится, что именно через него эта тема продвигалась в ПАСЕ.

В совокупности эти факты складываются в тревожную картину. Пока лидеры демократических стран пытались выстроить систему сдерживания российской агрессии, внутри самих европейских институтов действовали влиятельные фигуры, продвигавшие повестку, во многом синхронизированную с интересами Москвы. Антикультовая риторика в этом контексте оказывалась удобным камуфляжем для политического проникновения.

Однако Европа не была единственным направлением этой глобальной экспансии. Антикультовая сеть продемонстрировала способность вступать в альянсы с авторитарными режимами, разделяющими ее враждебность к свободе совести. Наиболее масштабным и трагическим примером такого сотрудничества стало взаимодействие с Китайской Народной Республикой.

Китайская ассоциация по борьбе с сектами (China Anti-Cult Association) — это организация, тесно встроена в партийно-государственную систему КНР и позиционирующая себя как одна из крупнейших антисектантских структур в мире. Ее влияние опирается на значительный административный ресурс и поддержку местных властей. Она играет важную роль в системе, определяющей,

какие группы попадают в официальные списки хіе жіао, что нередко влечет за собой жесткие репрессии.

Сотрудничество европейских филиалов FECRIS и российских антикультистов с китайским режимом активизировалось вскоре после начала масштабной кампании Пекина против Фалуныгун. Ситуация развивалась по знакомому сценарию: в то время как Соединенные Штаты, международные правозащитные организации и независимые наблюдатели били тревогу из-за массовых арестов, пыток и свидетельств о насильственном извлечении органов, китайскому правительству была необходима международная поддержка его антикультового нарратива.

Именно западные и российские антикультисты стали для Пекина важным внешним ресурсом такой легитимации. Они поддержали нарратив о том, что Фалуныгун представляет собой опасный «деструктивный культ», тем самым фактически выдавая индульгенцию на продолжение репрессий. Базой для этого альянса служила все та же конспирология. Китайские борцы с «еретическими учениями» исходили из того, что движения вроде Фалуныгун искусственно продвигаются Соединенными Штатами ради подрыва коммунистического режима. Эта логика во многом зеркально отражала представления российских сектоведов о том, что американские заговоры угрожают «духовной безопасности» России.

Социолог религии, профессор Массимо Интровинье в своем докладе «Симпатия к дьяволу: Антикультовая федерация FECRIS и ее поддержка репрессий против религии в России и Китае» зафиксировал этот феномен:

«Мы находим удивительным, что спустя более 20 лет антикультовые публикации и материалы FECRIS продолжают цитировать книгу, написанную в 1996 году, и статью, опубликованную в 2001 году французским антикультовым журналистом Брюно Фушери...»

Этот глобальный альянс борцов с сектами, объединивший европейских секуляристов, российских православных радикалов и китайских коммунистов, наглядно демонстрирует, что антикультизм давно перестал быть вопросом теологии или психологии. Он превратился в универсальную технологию

подавления, готовую обслуживания режимов, стремящийся к тотальному контролю над обществом.

По мере того, как российская государственная риторика радикализировалась, методы стигматизации, отработанные на религиозных меньшинствах, начали применяться к политическим институтам Запада. Термин «сатанизм», который прежде использовался для описания маргинальных религиозных или эзотерических групп, а затем был перенесен на украинское руководство, совершил новый смысловой скачок. В официальной и окол властной риторике лидеры Украины, стран НАТО и отдельных государств ЕС все чаще стали описываться в категориях «сатанизма», а западный либеральный порядок — как квазирелигиозная, тоталитарная система.

Этот лингвистический сдвиг имеет серьезные последствия для международных отношений. Когда государство начинает описывать своих геополитических оппонентов как носителей абсолютного зла, оно радикально сужает пространство дипломатии. С политическим противником можно вести переговоры, подписывать договоры о контроле над вооружениями, искать компромиссы в торговых спорах. Но чем сильнее противник переводится в метафизическую категорию «сатанинского культа», тем легче любой компромисс начинает трактоваться как предательство и капитуляция.

Именно поэтому антикультовые нарративы стали особенно удобным инструментом для вмешательства в политические процессы других стран. Их задача — не только продвигать конкретных кандидатов, но и подрывать доверие к самим западным институтам.

Механика этого экспорта хорошо прослеживается на примере Чешской Республики, где в последние годы антикультовая активность заметно усилилась. Местные активисты, заявляющие о своей независимости, нередко действуют по схемам, во многом напоминающим российские антикультовые методички. Они создают собственные медиаресурсы, добиваются присутствия в традиционных СМИ и разворачивают кампании публичной стигматизации.

Сначала их мишенями становятся локальные религиозные группы — Свидетели Иеговы, Церковь Шинчонджи и другие религиозные меньшинства. Общество, как правило, равнодушно наблюдает за давлением на тех, кто лишен

политического веса. Но как только технология обкатана, а каналы распространения информации выстроены, похожие приемы стигматизации начинают переноситься и в политическую сферу.

Использование журналистского или правозащитного прикрытия для продвижения скрытой политической повестки стало одним из характерных приемов подобных сетей. Показательной аналогией здесь может служить случай Пабло Гонсалеса — испанского журналиста, которого Польша в 2022 году арестовала по подозрению в шпионаже в пользу России, а после обмена заключенными в 2024 году в Москве лично встречал Владимир Путин. Этот кейс показал, насколько трудно демократическим обществам распознавать угрозу, когда она говорит на языке независимой журналистики и прав человека.

Это ставит перед демократическим миром тяжелый вопрос: как распознать угрозу, если она говорит на языке защиты прав человека? Где проходит грань между искренней обеспокоенностью психологическим здоровьем граждан и целенаправленной работой по дестабилизации общества?

Ответ кроется в методологии. Глобальная антикультовая сеть нередко использует принцип зеркальной пропаганды, доводя абсурдность обвинений до предела. Ярким примером этой тактики является кампания против еврейского движения Хабад-Любавич.

В России представители антикультовой среды, навешивали на хасидов ярлыки «секты» и «неоязыческого культа» и вписывали их в конспирологический нарратив о скрытой угрозе. Эта риторика легко превращается в инструмент разжигания антисемитизма и поиска новой «пятой колонны». В 2022 году высокопоставленный российский чиновник прямо назвал Хабад-Любавич «неоязыческим культом», что вызвало резкую реакцию еврейских организаций и обвинения в антисемитизме.

Параллельно с этим в англоязычном пространстве циркулируют и зеркальные конспирологические нарративы, в которых Хабад описывают как зловещую политико-религиозную сеть, связанную то с американским истеблишментом, то с Путиным, то с глобальным заговором. Обязательная привязка целевой группы к демонизирующему политическому сюжету, актуальному для конкретной страны, становится удобной технологией

дестабилизации. Цель таких операций — не поиск истины, а создание хаоса, провоцирование ненависти и разрушение социального доверия.

Экспорт антикультовой риторики на Запад — это уже не просто побочный эффект информационной войны. Это инструмент, который все чаще используется для подрыва самой концепции прав человека изнутри. Используя общественные страхи, манипулируя понятиями «психологического насилия» и «защиты традиций», эта транснациональная среда подготавливает почву для нормализации репрессивных практик в странах, которые еще вчера считались оплотом свободы.

Документальные свидетельства и независимые расследования показывают, что методы стигматизации, отработанные в российских судах и пропагандистских кампаниях, все заметнее проявляются и в европейском публичном пространстве. Риторика, начинавшаяся с маргинальных брошюр о вреде «сект», йоги и медитации, постепенно эволюционировала в геополитическое оружие массового поражения.

Европейские институты, которые годами предоставляли трибуну идеологам нетерпимости, сегодня оказались перед лицом угрозы, которую они сами помогли вскормить.

В тишине конференц-залов Парижа, Женевы и Брюсселя, где респектабельные эксперты продолжают обсуждать «деструктивное влияние культов», не слышно разрывов снарядов. Но именно там продолжается незаметная работа по легитимации языка ненависти. Слова о «глобальной секте» и «сатанизме», переведенные на европейские языки и встроенные в западный политический и медийный оборот, продолжают свой разрушительный путь, напоминая, что вирус тотального обвинения не знает государственных границ. Вопрос лишь в том, какая социальная группа или политическая институция станет следующей мишенью в этой войне за контроль над человеческим сознанием.

Глава 13. Что делает с обществом язык тотального обвинения

В дежурную часть рядового районного отдела полиции поступает заявление. Текст, написанный на стандартном бланке, не содержит информации о краже, бытовом насилии, мошенничестве или нарушении общественного порядка. Заявитель, обычный житель многоквартирного дома, просит правоохранительные органы провести проверку в отношении своего соседа или коллеги по работе. В качестве обоснования подозрений используется специфический, безошибочно узнаваемый словарь: человек якобы «деструктивно влияет на окружающих», «применяет скрытые техники манипуляции», «демонстрирует сектантское мышление» и, возможно, «находится под внешним управлением», поскольку избегает участия в коллективных государственных инициативах и читает подозрительную литературу.

Дежурный офицер привычно регистрирует документ. Еще полтора десятилетия назад подобная бумага с высокой долей вероятности отправилась бы в архив с негласной пометкой о чрезмерной мнительности автора. Сегодня она все чаще может становиться основанием для реальной проверки, визита участкового, изъятия личной техники и многочасовых допросов. С начала полномасштабной войны практика доносов в России заметно расширилась: независимые медиа оценивали их число как минимум в тысячи.

Язык тотального обвинения, годами разрабатывавшийся в узких кругах борцов с инакомыслием, совершил свой главный прорыв — он ушел в народ. Специфическая оптика, изначально созданная для маргинализации небольших религиозных групп, стала универсальным фильтром, через который российское общество начало смотреть само на себя. Произошла глубокая социальная мутация: антикультовая деятельность фактически вовлекла граждан в практику стигматизации, и многие граждане с готовностью приняли эту роль

Эпидемия доносов, захлестнувшая страну, отличается от исторических аналогов прошлого века именно своей лингвистической и концептуальной

базой. Современный доносчик редко оперирует строгими юридическими категориями. Ему это не нужно. Антикультовый словарь предоставил размытую и эмоционально заряженную формулу, позволяющую криминализировать почти любую инаковость. Слова вроде «деструктивный» или «зомбированный» не имеют четких границ в уголовном праве, но они обладают мощным аффективным эффектом, который парализует волю проверяющих инстанций. Следовательно, получающий сигнал о «скрытом манипулировании», оказывается в ситуации, где отказ от возбуждения дела может быть трактован как преступная халатность и пособничество внутренним врагам.

В этой повседневной практике правоохранительных органов происходит окончательное стирание границы между правовой нормой и идеологическим клеймом. Закон, который в демократическом обществе должен опираться на доказанный факт причинения ущерба, подменяется презумпцией идеологической виновности. Если человек объявлен носителем «деструктивного культа», его убеждения, частные разговоры и сам образ жизни начинают восприниматься как признаки потенциальной угрозы.

Когда юридическая логика окончательно заходит в тупик, сталкиваясь с абсурдностью выдвигаемых обвинений, система обращается к проверенному историческому средству — карательной медицине. Использование психиатрии для изоляции тех, чья вина не может быть доказана в рамках даже самого предвзятого судебного процесса, стало логичным продолжением антикультовой парадигмы. Если оппонент объявлен «одержимым» или жертвой «промывки мозгов», его лишают статуса социально-здравомыслящей личности. С ним больше не нужно спорить в суде — его можно направить на принудительное обследование.

Иллюстрацией этого процесса служит дело Александра Сизикова, развернувшееся в июле 2020 года. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, крымского мусульманина, полностью потерявшего зрение еще в 2009 году. Обвинение строилось по стандартной для политических дел схеме: организация ячейки «Хизб ут-Тахрир». В качестве одного из ключевых доказательств следствие предъявило книги этой организации, обнаруженные во время обыска. Однако они были напечатаны обычным типографским способом, без шрифта Брайля, а значит, незрячий человек физически не мог их читать.

Столкнувшись с очевидной невозможностью рационально обосновать вину слепого человека в «чтении экстремистской литературы», следствие прибегло к другому механизму давления: в октябре 2020 года Сизикова направили на месяц в психиатрическую больницу для стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Этот случай трудно считать единичным эксцессом. Правозащитные наблюдатели и профильные организации фиксируют применение психиатрического принуждения в отношении политически преследуемых людей как в России, так и в оккупированном Крыму. В таких случаях экспертиза нередко превращается в механизм фактического внесудебного лишения свободы: человека помещают в жестко изолированную среду, его контакты с внешним миром резко ограничиваются, а свобода передвижения сводится к пространству закрытого стационара.

Законодательная база под эту практику была подведена с поразительной оперативностью. В декабре 2021 года в уголовно-процессуальное регулирование были внесены изменения, уточнившие порядок помещения подозреваемых, обвиняемых и содержащихся под стражей в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях. Эти нормы дополнительно закрепили возможность длительной изоляции под судебным контролем и последующего продления такого содержания.

Эти поправки создали юридический фасад для изоляции людей, попавших в негласные списки неблагонадежных. Возвращение к практикам, казалось бы, оставшимся в советском прошлом, сопровождается почти полным игнорированием исторического опыта. Писатель и диссидент Александр Солженицын, прошедший через советскую репрессивную систему, дал этому явлению предельно жесткую нравственную оценку, назвав помещение свободомыслящих людей в психиатрические больницы «вариантом газовой камеры» и «духовным убийством».

Но почему общество, имеющее доступ к информации и историческую память о массовых репрессиях, не оказывает сопротивления? Почему новости о слепых людях, отправленных в психиатрические клиники, или о соседях,

арестованных по анонимным доносам за «деструктивное влияние», не вызывают массового возмущения?

Ответ кроется в глубоком психологическом истощении социума, вынужденного существовать в токсичной информационной среде. На протяжении многих лет российское общество подвергалось непрерывной бомбардировке сообщениями о скрытых угрозах. Телевизионные эфиры, новостные ленты и заявления официальных лиц ежедневно транслировали картину мира, в которой страна находится в кольце врагов, а внутри нее действуют законспирированные сети сект, иностранных агентов и сатанистов.

Такая интенсивность информационного давления запускает в массовом сознании самоподдерживающийся цикл тревоги и дистресса. Сталкиваясь с пугающей информацией о невидимых угрозах, человек испытывает естественный страх и потерю контроля над собственной жизнью. Пытаясь вернуть чувство безопасности, он начинает искать больше информации, надеясь найти в ней способы защиты. Однако медийное пространство, настроенное на генерацию тревоги, предлагает ему лишь новые порции ужасающих подробностей. Страх не уходит, он накапливается, перерастая в хронический дистресс — состояние, при котором нервная система работает на пределе возможностей, что неизбежно ведет к эмоциональному выгоранию и апатии. Постоянный поток плохих новостей и информационная перегрузка действительно могут усиливать стресс и ухудшать психологическое состояние.

Еще в середине XX века американские социологи Пол Лазарсфельд и Роберт Мертон, исследуя влияние средств массовой коммуникации, сформулировали концепцию, во многом описывающую и нынешнее состояние массовой аудитории. Они ввели понятие «наркотизирующая дисфункция СМИ» — ситуацию, при которой избыток информации создает не мобилизацию, а иллюзию участия, постепенно подменяя действие пассивным потреблением сообщений.

Суть этого явления заключается в том, что чрезмерное потребление информации создает у человека иллюзию социальной активности. Гражданин, проводящий часы за чтением тревожных новостей о разоблачении очередных «внутренних врагов», начинает искренне верить, что он участвует в

политической жизни страны. Его информированность заменяет ему реальное действие. Лазарсфельд и Мертон сформулировали это предельно ясно: «Те, кто стремится контролировать мнения и убеждения общества, всё реже прибегают к физическому насилию и всё чаще — к массовому убеждению».

В условиях наркотизирующей дисфункции общество теряет способность к критическому анализу. Обилие противоречивых, эмоционально заряженных данных делает людей поверхностно осведомленными, но абсолютно беспомощными перед лицом системной манипуляции. Апатия становится не признаком равнодушия, а единственно доступным способом психологической самозащиты. Чтобы не сойти с ума в мире, где каждый может оказаться «агентом деструктивного культа», человек просто отключает эмпатию и отказывается от попыток разобраться в происходящем.

Однако система, построенная на поиске внутренних врагов, не может довольствоваться пассивным молчанием граждан. По мере ужесточения политического климата требования к лояльности радикально меняются. Просто не участвовать в протестах или молча смотреть телевизор становится недостаточно. Формируется новая социальная норма, при которой лояльность государству требует публичного, демонстративного отказа от критического мышления.

В этой новой реальности сомнение приравнивается к измене. Если человек пытается рационально проанализировать обвинения, выдвинутые против его коллеги, или задает вопросы о правомерности использования психиатрии против инакомыслящих, он немедленно попадает под подозрение. Защита стигматизированного делает защитника соучастником. Антикультовая логика работает здесь безотказно: если ты не видишь угрозы в «секте», значит, ты сам уже подвергся ее скрытому влиянию, твое сознание манипулировано, и ты нуждаешься в изоляции.

Чтобы доказать свою благонадежность, гражданин должен активно участвовать в ритуалах осуждения. Он должен повторять спущенные сверху формулы о «деструктивных силах» и «одержимости» оппонентов, даже если эти формулы противоречат здравому смыслу и его собственному жизненному опыту. Этот процесс принудительного конформизма ломает личность изнутри.

Человек, вынужденный публично соглашаться с абсурдом ради сохранения работы, свободы или безопасности семьи, теряет самоуважение. Он становится соучастником лжи, и это соучастие связывает его с системой круговой поруки.

Разрушительные последствия этой практики для социальной ткани государства огромны. Язык тотального обвинения уничтожает базовый элемент любого здорового общества — социальное доверие. Горизонтальные связи между людьми распадаются. Сосед начинает видеть в соседе потенциальную угрозу. Учитель боится своих учеников, зная, что любая неосторожная фраза может быть интерпретирована как «психологическое насилие» или «пропаганда чуждых ценностей». Родители с тревогой прислушиваются к разговорам собственных детей, опасаясь обнаружить в них признаки «сектантского мышления».

Общество атомизируется, распадаясь на миллионы изолированных, напуганных индивидов, каждый из которых подозревает окружающих и боится быть заподозренным сам. В таком состоянии социум теряет способность к самоорганизации, солидарности и созидательному труду. Все больше общественной энергии уходит на обслуживание паранойи: на доносы, бесконечные проверки и экспертизы, на поиск черной кошки в темной комнате, где ее никогда не было.

Оптика, изначально направленная на выявление и изоляцию маргинальных групп, в конечном итоге изолировала саму страну от реальности. Поверив в собственные мифы о тотальном проникновении деструктивных сил, система начала пожирать саму себя, уничтожая научный потенциал, независимую культуру и гражданские инициативы. Любое сложное, нелинейное явление объявляется враждебным просто потому, что оно не укладывается в примитивную черно-белую картину мира, нарисованную идеологами нетерпимости.

В пустом коридоре районного суда, где только что огласили очередное постановление о направлении человека на принудительную психиатрическую экспертизу за чтение неправильных книг, повисает тяжелая тишина. В этой тишине нет торжества правосудия ни чувства восстановленной безопасности. В ней звучит лишь глухое эхо общества, которое так долго и усердно искало

скрытых врагов, что не заметило, как само добровольно заперло себя в палате, ключи от которой давно выброшены теми, кто обещал спасение от вымышленных угроз.

Глава 14. Как распознаётся идеологическая подготовка массового насилия

«Но на сырых стенах газовых камер, на местах расстрелов, в фортах смерти, на каменных плитах тюрем и казематов мы до сих пор можем различить полные глубокой душевной боли, вызывающие к возмездию краткие записи обречённых на смерть людей. И пусть помнят живые эти запечатлённые на камне голоса жертв немецко-фашистского террора, вызывавших перед смертью к совести мира, о справедливости и о возмездии».

Эти слова, произнесённые Львом Смирновым на Нюрнбергском процессе, фиксируют материальные следы уже совершившейся катастрофы. Они говорят о том, что остается после уничтожения. Однако историческая оптика, сфокусированная исключительно на газовых камерах, братских могилах и разрушенных городах, часто упускает из виду важнейшую закономерность социальной инженерии: массовое насилие почти никогда не начинается с выстрела. Выстрел — это лишь техническое завершение длительного, скрупулезного и глубоко эшелонированного процесса. Настоящая подготовка к уничтожению начинается в пространстве языка.

Идеологическая подготовка массового насилия — это не хаотичный набор агрессивных заявлений, а воспроизводимая технология со своей внутренней логикой, этапами развертывания и распознаваемыми индикаторами. Анализ деятельности антикультовых сетей и их интеграции в государственные

пропагандистские машины позволяет проследить общую механику того, как слова превращаются в санкцию на убийство.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, оценивая современные глобальные риски, подчеркивал, что дегуманизация сообществ, дезинформация и разжигание ненависти остаются постоянными спутниками насилия. Экстремистские движения, по его словам, питаются поляризацией общества и культурными манипуляциями, а их риторика, несмотря на смену технологий, остается, по существу, прежней.

Чтобы понять, как именно «отвратительные послания» трансформируют общество, необходимо препарировать сам механизм эскалации языка вражды. Анализ исследований в области психолингвистики, социальной психологии, права и genocide studies позволяет предложить модель из шести этапов идеологической подготовки, каждый из которых последовательно снимает моральные и юридические барьеры на пути к физическому уничтожению целевой группы.

Первый этап — это маркировка и стигматизация. На этой стадии происходит конструирование ярлыка «ненормальности». В исторической ретроспективе этот процесс известен как метод «клеймения жёлтыми звездами». В 1930-х годах нацистские СМИ начали публиковать материалы, визуально и концептуально отделяющие евреев от остального населения. Сегодня этот метод эволюционировал: физические нашивки на одежде заменили лингвистические маркеры.

Слова «тоталитарная секта», «деструктивный культ» или «одержимые» функционируют как устойчивые идеологические стереотипы. Их главная задача — обойти рациональное восприятие. Ярлык вызывает сильные негативные эмоции, такие как страх или брезгливость, и воспринимается аудиторией автоматически. Как только на группу людей навешивается подобный маркер, любые их положительные качества, социальные достижения или мирные намерения полностью нейтрализуются в глазах большинства. Аудитория формирует резко негативное мнение, не вникая в факты.

Второй этап становится критической точкой в эскалации конфликта — это отказ в политической субъектности. Пока оппонент признается политическим

актором, с ним возможны диалог, спор, дипломатические переговоры и поиск компромисса. Но как только целая социальная группа, религиозное меньшинство или население соседнего государства объявляется «сектой», правила игры радикально меняются.

В этой парадигме сектантство трактуется не как осознанный выбор, а как результат внешнего манипулирования, «промывки мозгов» и контроля сознания. Люди, находящиеся по ту сторону конфликта, тем самым лишаются статуса самостоятельных субъектов. Они превращаются в «зомбированных» марионеток, с которыми уже не ведут переговоров как с равноправной стороной. Их начинают рассматривать как объект подавления, принудительного «лечения» или устранения вместе с их предполагаемыми кукловодами. Отказ от признания субъектности делает компромисс почти невозможным, поскольку в этой искаженной логике любой компромисс с «деструктивным культом» начинает восприниматься как капитуляция перед злом.

Третий этап — дегуманизация и патологизация. Здесь язык вражды достигает максимальной плотности. На этой стадии пропагандистские тексты насыщаются лексикой, лишаящей жертву человеческих черт. В ход идут зооморфные метафоры, сравнения с паразитами, вирусами или бездушными механизмами. Параллельно запускается процесс патологизации: лидеры и члены целевой группы описываются в терминах клинической психиатрии — как люди с «искаленной психикой», как носители социальной инфекции.

Особую роль на этом этапе играет демонизация. Приписывание оппонентам связи с «сатанизмом» или «тёмными силами» выводит конфликт из плоскости земных, рациональных интересов в пространство метафизической битвы. Это создает жесткую бинарную оппозицию: «мы» выступаем как носители абсолютной истины и порядка, тогда как «они» — как воплощение абсолютного хаоса и лжи.

Четвертый этап требует структурных изменений в обществе — это монополизация информационного пространства. Идеологическая подготовка массового насилия крайне затруднена в условиях свободы слова и открытой дискуссии. Поэтому альтернативные точки зрения, независимые расследования

и попытки правозащитников вступить за стигматизируемую группу должны быть вытеснены, дискредитированы или подавлены.

Монополия позволяет запустить механизм, который можно описать как «пазловое кодирование». Информационные волны ненависти накладываются друг на друга непрерывно — день за днем, год за годом. В массовое сознание внедряются отдельные фрагменты пугающей картины: репортажи о якобы разрушенных семьях, сфабрикованные экспертизы, заявления ангажированных политиков. Этот процесс может занимать годы, но в результате такого многослойного кодирования общество оказывается подготовлено к радикальным решениям. Любой голос, призывающий к милосердию или объективности, в таком монополизированном пространстве немедленно объявляется пособничеством врагу.

Пятый этап — инверсия жертвы и косвенное побуждение к самообороне. Парадокс подготовки к геноциду заключается в том, что агрессор всегда позиционирует себя как жертву. В текстах и выступлениях идеологов редко звучат прямые императивные призывы к убийству. Вместо этого конструируется образ целевой группы как экзистенциальной, смертельной угрозы для выживания большинства.

Используется стратегия запугивания: обществу внушают, что если не нанести превентивный удар, «деструктивные силы» уничтожат традиционные ценности, захватят имущество, поработят детей и разрушат государство. На этом информационном фоне любые, даже самые жестокие и противоправные меры противодействия начинают восприниматься обывателями как необходимая, вынужденная самооборона. Насилие легитимизируется через страх.

Шестой, финальный этап — сакрализация «очищения». Когда общество запугано, а жертва расчеловечена, физическое уничтожение переводится в ранг высшей добродетели. Язык обогащается терминами «очищение», «хирургическое вмешательство», «искоренение». Участие в насилии больше не рассматривается как преступление; оно становится актом служения, гражданским и религиозным долгом. На этой стадии идеологическая машина полностью передает эстафету машине военной и карательной.

Чтобы осознать, насколько незаметно и обыденно эти этапы могут протекать для современников, полезно обратиться к концепции, обсуждаемой в современных исследованиях геноцида. В статье *Cold Genocide: Falun Gong in China* Мария Ченг, Торстен Трей, Дэвид Матас и Ричард Ан опираются на работы Къеля Андерсона и Шери Розенберг, различающих «горячие» и «холодные» формы геноцида. Под «холодным геноцидом» понимается не мгновенный всплеск массового убийства, а медленный процесс уничтожения группы через истощение, структурное насилие и последовательное разрушение условий жизни. К таким механизмам относятся подрыв доступа к работе, жилью, образованию, еде и медицинской помощи, а также постепенные исчезновения. В этом смысле «холодный» геноцид контрастирует с «горячим» — формой высокой интенсивности, когда уничтожение группы происходит в относительно короткие сроки.

Деятельность антикультовых сетей на протяжении десятилетий представляла собой классический пример подготовки и реализации именно «холодного геноцида». Создавая невыносимые условия жизни для религиозных меньшинств, инициируя их увольнения с работы, конфискацию имущества, запрет на собрания и постепенные аресты, эти структуры приучали общество к мысли, что поражение в правах целых групп людей — это нормальная государственная практика.

Опасность «холодного» этапа заключается в его обыденности. Он не вызывает шока у международного сообщества, так как скрыт за фасадом судебных заседаний, религиозоведческих экспертиз и заботы о «духовной безопасности». Однако именно этот медленный процесс истощения эмпатии создает необходимый фундамент для перехода к «горячей» фазе, когда те же самые ярлыки и методы масштабируются до уровня межгосударственного конфликта и оправдания ковровых бомбардировок.

История предоставляет нам пугающе точные примеры того, к чему приводит игнорирование ранних стадий идеологической подготовки. Трагедия в Руанде в 1994 году стала хрестоматийным доказательством того, что слова убивают так же эффективно, как пули. В течение 88 дней там было уничтожено около миллиона человек. Эта немыслимая скорость убийств стала возможной исключительно благодаря предшествующей массовой пропагандистской

кампании, в ходе которой радиостанции и газеты методично расчеловечивали этническую группу тутси, называя их «тараканами» и «змеями».

История предоставляет путающе точные примеры того, к чему приводит игнорирование ранних стадий идеологической подготовки. Геноцид против тутси в Руанде в 1994 году стал хрестоматийным доказательством того, что слова могут подготавливать убийство не менее эффективно, чем оружие. За примерно сто дней там были убиты сотни тысяч человек — по разным оценкам, от около 800 тысяч до примерно миллиона. Эта немыслимая скорость массового уничтожения стала возможной во многом благодаря предшествующей пропагандистской кампании, в ходе которой радиостанции и газеты методично расчеловечивали тутси, называя их «тараканами» и «змеями».

Не менее страшной стороной руандийской трагедии стала реакция — точнее, неспособность международного сообщества вовремя отреагировать на происходящее. Ромео Даллер, командующий Миссией ООН в Руанде, позднее с горечью говорил, что мир фактически предпочел не замечать Руанду: она не воспринималась как стратегически значимый кризис, а внимание, ресурсы и политическая энергия были сосредоточены на других конфликтах, прежде всего на бывшей Югославии. При этом сигналы о надвигающейся катастрофе поступали по многим каналам, но не вызывали должного интереса у мировых держав.

Этот исторический прецедент обнажает критическую уязвимость современных демократических институтов. Они склонны реагировать на насилие только тогда, когда оно переходит в физическую, «горячую» фазу — когда начинают работать артиллерия и авиация, когда появляются потоки беженцев и массовые захоронения. Но к этому моменту предотвратить катастрофу уже невозможно; ее можно только попытаться остановить ценой колоссальных жертв.

Идеологическая подготовка, разворачивающаяся в информационном поле, в залах судов и на страницах псевдонаучных экспертиз, часто воспринимается внешними наблюдателями как внутреннее дело государства, как специфика локального законодательства или как маргинальные споры о свободе совести. Когда антикультовые центры годами тестировали свои методы на локальных

общинах, формируя словарь ненависти, мир предпочитал этого не замечать, считая проблему слишком незначительной для «экранов радаров мировых держав».

Однако механика расчеловечивания универсальна. Язык, который сегодня используется для оправдания ареста мирного верующего за чтение неправильной книги, завтра без малейших структурных изменений применяется для обоснования ракетного удара по жилому кварталу соседней страны. Слова «секта», «одержимые» и «сатанисты» работают как универсальные ключи, отпирающие двери в самые темные подвалы человеческой психики, высвобождая агрессию, не скованную больше ни законом, ни моралью.

Распознавание идеологической подготовки массового насилия требует изменения самой оптики наблюдения. Индикаторами надвигающейся беды являются не передвижения войск к границам — это уже финальный акт. Настоящими индикаторами служат изменения в словаре государственных чиновников, появление в официальных документах размытых терминов, криминализирующих инакомыслие, синхронные кампании по дискредитации определенных групп в монополизированных медиа и использование судебной психиатрии против несогласных.

Когда государство начинает официально делить людей на «чистых» носителей традиций и «зараженных» деструктивным влиянием, когда политический оппонент лишается права на субъектность и объявляется марионеткой тёмных сил, когда призывы к изоляции и очищению начинают звучать не из подворотен, а с церковных амвонов и парламентских трибун, — это означает, что механизм массового насилия уже приведен в действие.

В этот момент лингвистическая архитектура насилия оказывается полностью выстроена. Чертежи превращаются в несущие конструкции новой социальной реальности. Общество, прошедшее через эти этапы идеологической обработки, застывает в состоянии взведенного курка. Ему больше не нужны рациональные аргументы или доказательства вины тех, на кого указано пальцем. В сознании миллионов людей жертва уже морально уничтожена, лишена человеческого облика и права на существование. Остается лишь

политический сигнал, который переведет эту ментальную готовность в физическую плоскость и превратит слова ненависти в разрушение человеческой жизни.

Глава 15. Последнее предупреждение

Расстояние между словом, произнесённым в тёплой, ярко освещённой телевизионной студии, и пулей, пробивающей человеческое тело в сыром подвале разрушенного города, кажется огромным. Интеллектуалы, религиоведы и приглашённые эксперты, годами рассуждавшие об опасности «деструктивных культов» и необходимости «духовного очищения», редко держат в руках оружие. Их руки остаются чистыми, их костюмы безупречны, а речь изобилует сложными академическими терминами. После эфиров они возвращаются в свои квартиры, к привычному быту, на безопасное расстояние от тех последствий, к которым причастен созданный ими язык.

В это же самое время, в сотнях километров от их московских кабинетов, идеологические конструкции, которые они так тщательно выстраивали, обретают свою финальную, физическую форму. Абстрактные теории о «зомбированных массах» и «сатанинском влиянии» конвертируются в приказы, допросы, пытки и братские могилы.

Контраст между стерильностью академических дискуссий о «защите традиционных ценностей» и физическими страданиями жертв этой защиты поражает своей чудовищной несоразмерностью. Беженцы, потерявшие дома и стоящие в очередях за гуманитарной помощью в чужих странах, и люди, чьи родственники исчезли после фильтрации, задержаний или содержания в оккупационных местах несвободы, стали живым итогом политики, в которой язык дегуманизации и подозрения играл все более заметную роль. Документированные нарушения — от принудительного перемещения гражданских лиц до произвольных задержаний, пыток и исчезновений —

показывают, как идеологическое расчеловечивание облегчает практику насилия на земле.

Слово «десатанизация», произнесенное в студии или с трибуны, само по себе еще не нажимает на спусковой крючок. Но оно помогает создать моральную и психологическую среду, в которой разрушение жилых кварталов, пытки, допросы и исчезновения начинают восприниматься не как преступление, а как допустимая мера против тех, кого уже лишили человеческого статуса. Именно так лингвистическая цепь ненависти соединяется с физическим насилием.

Здесь мы сталкиваемся с одним из самых сложных вопросов социальной психологии: почему общество, однажды принявшее язык дегуманизации и позволившее втянуть себя в спираль массового насилия, оказывается неспособным легко выйти из нее? Почему даже перед лицом очевидных катастрофических последствий, видя разрушенные города и получая похоронки, столь многие продолжают цепляться за навязанные им идеологические конструкты?

Ответ во многом кроется в защитных механизмах человеческой психики. Признание того, что твоя страна ведет несправедливую войну, а твои сограждане совершают военные преступления, требует огромного нравственного мужества. Оно угрожает не только политическим убеждениям человека, но и его моральной и социальной идентичности. Такое признание может вызывать коллективную вину, стыд и болезненный когнитивный диссонанс, поэтому психика нередко ищет защиту в отрицании, рационализации и оправдании уже усвоенной идеологии. Именно поэтому та самая система взглядов, которая привела к катастрофе, начинает восприниматься как единственное средство психологического спасения.

Язык антикультизма предоставляет идеальное убежище от мук совести. Если поверить в то, что противник действительно является «тоталитарной гиперсектой», управляемой инфернальными силами, то любые жертвы среди мирного населения можно рационализировать. Разрушение гражданской инфраструктуры начинает восприниматься не как военное преступление, а как тяжелая, но необходимая мера по разрушению «инфраструктуры культа». Гибель детей объясняется тем, что они были «заложниками сектантов».

В этой парадигме остановка боевых действий и поиск компромисса воспринимаются не как путь к миру, а как предательство и капитуляция перед дьяволом. Общество загоняет само себя в ловушку: чем больше крови пролито, тем сильнее потребность оправдать эту кровь высокими, квазирелигиозными целями. Насилие становится самоподдерживающимся процессом. Люди продолжают верить пропаганде не потому, что она логична или доказательна, а потому, что отказ от этой веры разрушит их собственную личность. Они становятся заложниками словаря, который изначально был создан для порабощения других.

Именно поэтому историческая ответственность тех, кто создавал, легитимизировал и внедрял этот словарь в массовое сознание, не может быть списана на свободу слова или академические заблуждения. Интеллектуалы, сектоведы, лингвисты, писавшие заказные экспертизы, и телевизионные ведущие, транслировавшие ненависть в прайм-тайм, являются не просто наблюдателями или комментаторами эпохи. Они — прямые соавторы каждого совершенного преступления.

В истории международной юриспруденции существуют прецеденты, дающие четкую правовую оценку подобной деятельности. Одним из важнейших стало дело *Nahimana, Barayagwiza and Ngeze* (ICTR-99-52), известное как *Media Case* и рассмотренное Международным уголовным трибуналом по Руанде. Оно закрепило принципиальную норму: свобода слова не защищает прямое и публичное подстрекательство к геноциду. Руководители радиостанции RTLM и газеты *Kangura* были осуждены за роль, которую их медиа сыграли в распространении идеологии ненависти и подстрекательстве к массовому насилию. Практика трибунала показала, что пропаганда может быть не внешним сопровождением убийств, а одним из ключевых инструментов их подготовки и осуществления.

Деятельность антикультовой сети в России подпадает под эту историческую и правовую логику. Те, кто вводил в оборот термины, лишаящие целые народы права на субъектность, те, кто подводил псевдонаучную базу под необходимость «очищения» территорий, совершали преступление против человечности задолго до того, как границу пересек первый танк.

Датский теолог и исследователь Йоханнес Огорд, чьи идеи заметно повлияли на формирование европейского антикультового дискурса, в одном из своих текстов сформулировал мысль, которая сегодня звучит как мрачное напоминание об ответственности за идеи: зло нередко оказывается заложено в самом вероучительном каркасе, и потому опасные доктрины нельзя игнорировать как безобидные слова.

Эта мысль обнажает самую суть проблемы. Пыточные подвалы, фильтрация, разрушенные жилые кварталы и другие злодеяния войны не возникают из пустоты. Им предшествует язык, который заранее делит людей на «правильных» и подлежащих искоренению, на носителей истины и на «сектантов», «одержимых» или «зараженных». Доктрина нетерпимости, упакованная в книги о духовной безопасности и утвержденная авторитетом экспертных советов, может содержать в себе идеологический код будущей катастрофы. Когда вероучение ненависти получает институциональную легитимацию, оно рано или поздно начинает превращаться в практику ненависти.

Интеллектуалы, обслуживающие авторитарные режимы, всегда надеются на то, что история спишет их слова в архив, оставив всю тяжесть вины на политиках, отдававших приказы, и солдатах, нажимавших на спусковые крючки. Они прячутся за дипломами, научными степенями и статусом независимых исследователей. Но когда дым рассеивается, именно тексты, экспертизы и публичные выступления остаются главными уликами, доказывающими наличие умысла. Бумага, на которой напечатано обвинительное заключение, пропитанное антикультовой терминологией, весит не меньше, чем свинец.

Интеллектуалы, обслуживающие авторитарные режимы, всегда надеются на то, что история спишет их слова в архив, оставив всю тяжесть вины на политиках, отдававших приказы, и солдатах, нажимавших на спусковые крючки. Они прячутся за дипломами, научными степенями и статусом независимых исследователей. Но когда дым рассеивается, именно тексты, экспертизы и публичные выступления остаются главными уликами, доказывающими наличие умысла. Бумага, на которой напечатано

обвинительное заключение, пропитанное антикультовой терминологией, весит не меньше, чем свинец.

Мы стоим перед лицом реальности, в которой слова окончательно утратили свою невинность. Когда государство берет на вооружение язык радикальной маргинальной группы и делает его основой своей внутренней и внешней политики, оно подписывает смертный приговор не только своим соседям, но и собственному будущему. Общество, позволившее убедить себя в том, что вокруг него кишат демоны, сектанты и скрытые враги, неизбежно превращается в слепое орудие саморазрушения. Оно будет искать предателей до тех пор, пока не уничтожит само себя, задыхаясь в атмосфере тотальной подозрительности и страха.

В пустом, выгоревшем здании на окраине украинского города, среди битого кирпича, искореженного металла и брошенных в спешке вещей, ветер перелистывает страницы чудом уцелевшей книги. Это не военный устав и не политический манифест. Это обычный учебник истории, по которому когда-то учились дети, чьи жизни были прерваны или навсегда искалечены во имя абстрактных идей о духовном превосходстве. Эта тишина разрушенного пространства говорит громче любых телевизионных эфиров. Она свидетельствует о том, что происходит, когда право определять, кто является человеком, а кто — безвольным адептом, передается в руки тех, кто профессионально торгует ненавистью. И эта тишина не оставляет пространства для иллюзий: пока язык, оправдывающий расчеловечивание, не будет демонтирован, осужден и изгнан из публичного пространства, ни один город, ни одна семья и ни один человек не могут чувствовать себя в безопасности.

Глава 16. Эпилог

В 1947 году, когда Европа еще лежала в руинах, а запах гари от бомбардировок только начинал выветриваться с улиц немецких городов, филолог Виктор Клемперер опубликовал книгу, ставшую одним из важнейших

трудов о выживании в условиях идеологического отравления. Она называлась *ЛТИ — Язык Третьего рейха*. Клемперер, еврей, переживший годы нацистской диктатуры в Германии, вел тайный дневник, в котором скрупулезно фиксировал не передвижения войск и не политические решения верхов, а мутации повседневной речи.

Его главный вывод оказался пугающе точным и универсальным для любой эпохи: диктатуры подчиняют людей не только через террор, но прежде всего через незаметное изменение словаря. Клемперер выразил это в метафоре, которая и сегодня точно описывает природу информационного насилия: «Слова могут действовать как крошечные дозы мышьяка: их проглатывают незаметно, они вроде бы не оказывают никакого действия, но через некоторое время отравление налицо».

На протяжении тридцати лет антикультура в России выступала в роли того самого фармацевта, который методично, день за днем, отмерял и растворял в общественном сознании эти дозы семантического мышьяка. Термины «тоталитарная секта», «деструктивный культ», «зомбирование», «одержимость» и «сатанизм» вводились в языковой кровоток под видом заботы о духовном здоровье нации. Сначала они применялись к немногочисленным религиозным меньшинствам, затем — к политическим оппонентам, и, наконец, к целому соседнему государству. Общество проглатывало эти слова незаметно, пока токсичная реакция не привела к легитимизации самого масштабного кровопролития в Европе со времен Второй мировой войны.

Физическое завершение любого вооруженного конфликта фиксируется подписанием мирных договоров, отводом войск и демаркацией границ. Однако когнитивная война не заканчивается в момент прекращения огня. Люди, чье сознание годами формировалось в парадигме осажденной крепости, где каждый инакомыслящий воспринимался как агент глобального культа, продолжают жить в тех же городах. Инфраструктура ненависти — привычка к доносу, страх перед сложностью мира, готовность делегировать собственную совесть «экспертам» и государству — обладает колоссальной инерцией. Преодоление последствий этого отравления требует усилий, сопоставимых с восстановлением разрушенных городов, но разворачивающихся в невидимом пространстве человеческой психики и культуры.

Исторический опыт обществ, переживавших выход из тоталитарных идеологических систем, показывает, что выздоровление трудно представить без глубокой правовой и моральной оценки действий тех, кто профессионально конструировал образ врага. В 1946 году немецкий философ Карл Ясперс в книге *«Вопрос о виновности»* предложил классификацию, которая и сегодня воспринимается как рабочая рамка для осмысления подобных катастроф. Ясперс разделил вину на уголовную, политическую, моральную и метафизическую.

Если уголовная вина лежит на тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы, то моральная вина всей своей тяжестью ложится на интеллектуальную службу режима. Теологи, психологи, лингвисты и религиоведы, которые писали заказные экспертизы, выступали в телевизионных эфирах и подвели наукообразную базу под необходимость «очищения» общества, не могут быть освобождены от ответственности ссылками на свободу слова или академические заблуждения. Они не просто следовали за государственной повесткой; они создавали тот самый язык, который сделал эту повестку возможной. Они предоставили политическому руководству и силовому аппарату интеллектуальное алиби для массового насилия.

Будущая правовая система, стремящаяся предотвратить рецидивы подобного государственного террора, неизбежно столкнется с необходимостью выработки новых юридических механизмов. Деятельность структур, занимающихся профессиональным производством ненависти под видом защиты традиционных ценностей или духовной безопасности, должна получить исчерпывающую правовую оценку. Производство псевдонаучных экспертиз, заранее предопределяющих виновность целых социальных групп, должно квалифицироваться не как научная деятельность, а как форма соучастия в преступлениях против базовых прав человека. Без демонтажа этой индустрии стигматизации любое демократическое обновление будет носить лишь декоративный характер, оставляя нетронутым сам корень проблемы.

Однако юридическое осуждение идеологов — это лишь верхний, институциональный слой выздоровления. Настоящая детоксикация происходит на уровне языка и повседневных практик. Главным противоядием от

антикультовой и государственной пропаганды является возвращение к точности понятий и восстановление критического мышления.

Язык вражды всегда оперирует абстрактными, эмоционально перегруженными контейнерами. Слово «секта» не имеет строгих юридических границ, но оно мгновенно вызывает страх и отторжение. Процесс лингвистической реабилитации общества начинается с отказа от использования подобных ярлыков. Здоровое государство и общество должны опираться на конкретные правовые категории. Если человек или организация совершают мошенничество, это должно называться мошенничеством и преследоваться по соответствующим статьям уголовного кодекса. Если совершается насилие — это насилие. Использование псевдорелигиозной терминологии для описания светских правонарушений или политических разногласий должно быть признано тем, чем оно является на самом деле: инструментом манипуляции и незаконного расширения репрессивных полномочий власти.

Возвращение к точному языку требует колоссальной интеллектуальной дисциплины. Это означает отказ от простых, бинарных схем, где мир делится на «светлых воинов» и «одержимых демонами».

Самым тяжелым и болезненным этапом этого пути является восстановление человеческого достоинства — как жертв, так и самих участников процесса расчеловечивания. Когда целая нация на протяжении многих лет убеждала себя в том, что по ту сторону границы находятся не люди, а лишенный субъектности биологический материал, управляемый внешними кураторами, признание реальности становится невыносимым психологическим испытанием.

Уникальный и трагический опыт преодоления подобной пропагандистской пропасти дал миру Руандийский процесс примирения. После того как международные трибуналы осудили главных организаторов геноцида и руководителей медиа, транслировавших ненависть, внутри самой страны были созданы традиционные общинные суды — гакака. Их главной целью было не столько наказание, сколько восстановление разорванной социальной ткани.

Самым важным элементом этих судов была их лингвистическая и эмоциональная природа. Люди, которые еще недавно убивали своих соседей,

находясь под воздействием пропаганды, называвшей жертв «тараканами» и «змеями», должны были встать перед выжившими. Им запрещалось использовать пропагандистские ярлыки. Они были обязаны произносить имена убитых. Переход от абстрактного, дегуманизирующего ярлыка к конкретному человеческому имени становился точкой, в которой рушилась идеологическая иллюзия и возвращалась реальность. Назвать человека по имени — значит признать его существование, его уникальность и его право на жизнь. Это акт, прямо противоположный логике антикультизма, которая стремится стереть лицо человека, заменив его клеймом «адепта».

Для российского общества путь к подлинному миру будет лежать через аналогичный, хотя и не обязательно формализованный в виде судов, процесс возвращения имен и лиц. Это потребует отказа от спасительного, но лживого нарратива о том, что миллионы граждан соседней страны были просто «обмануты» или «закодированы» западными спецслужбами. Придется признать их абсолютную политическую субъектность, их право на собственную историческую судьбу и их право на сопротивление агрессии. Придется осознать, что разрушенные города, миллионы беженцев и десятки тысяч погибших — это не абстрактная «борьба с деструктивными силами», а конкретные, непоправимые трагедии живых людей, чья единственная вина заключалась в том, что они оказались на пути имперской машины, вооруженной словарем инквизиции.

Этот процесс не может быть навязан исключительно извне. Он должен прорасти изнутри, через переоценку собственных убеждений, через чтение независимых исторических исследований, через готовность слушать голоса тех, кто был маргинализован и изгнан. Интеллектуальная элита, независимые журналисты, правозащитники и те представители духовенства, которые сохранили верность евангельским идеалам миротворчества, должны будут заново создать язык, на котором общество сможет говорить о своей вине, своей травме и своем будущем.

История идеологических эпидемий доказывает, что ни одна система тотального контроля над смыслами не является вечной. Конструкции, построенные на страхе, конспирологии и ненависти, обладают внешней монолитностью, но они лишены внутренней устойчивости, поскольку

противоречат самой природе человеческого духа, стремящегося к свободе и осмысленности. Антикультовая парадигма, попытавшаяся подменить сложность человеческих отношений примитивной схемой экзорцизма, неизбежно рухнет под тяжестью собственных преступлений и абсурда.

Но то, каким будет общество после этого крушения, зависит от каждого произнесенного или не произнесенного сегодня слова. Сохранение внутренней дистанции от языка государственной пропаганды, отказ от участия в ритуалах коллективного осуждения, защита тех, кого система пытается объявить «ненормальными» — все это не просто акты гражданского мужества. Это сохранение того самого семенного фонда нормальности, из которого в будущем предстоит заново выращивать культуру диалога и уважения к человеческой жизни.

В тишине, которая однажды неизбежно наступит после того, как замолкнут орудия и отключатся экраны, транслирующие ненависть, каждому человеку предстоит остаться наедине с собственной памятью. В этой тишине больше не будет спасительных голосов «экспертов», объясняющих, почему жестокость была оправдана высшими целями. Не будет теорий о глобальных заговорах и тоталитарных сектах, за которыми можно было спрятать собственное малодушие. Останется лишь голая, невыносимая ясность того факта, что граница между цивилизацией и варварством проходит не по линиям фронтов и не по государственным рубежам. Она проходит внутри человеческого сознания, в той невидимой точке, где человек делает выбор: назвать другого человека братом, оппонентом, соседом — или согласиться с тем, что перед ним безымянная, лишенная души мишень. И именно с этого выбора, с отказа от языка исключения, начинается долгий, тяжелый, но единственно возможный путь возвращения домой, в пространство человечности.